

~~5V~~ 1049

И. Ф. НАЖИВИН.

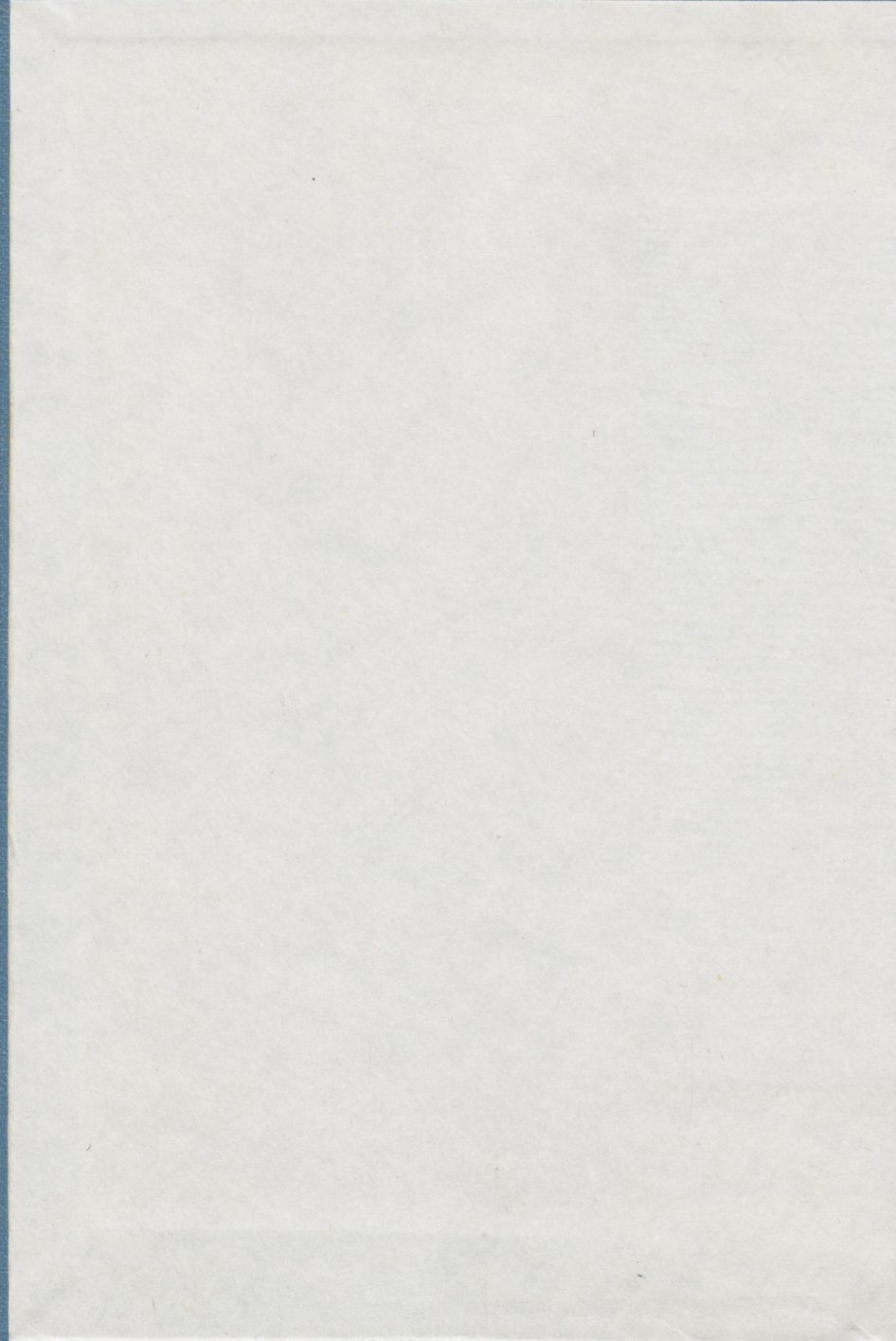
# МИЛЫЯ ТѢНИ

(Лебединая пѣснь о женщинѣ и любви).

РОМАН.



Издательство М. В. Зайцева, Харбин, 1938 г.









КНИГА № 119

И. Ф. НАЖИВИН.

Т. XXXV

SV1049

# МИЛЫЯ ТЪНИ

(Лебединая пѣснь о женщинѣ и любви).

РОМАН.

ENSV  
Riiklik Avalik  
Raamatukogu

457557

SV-1055

Издательство М. В. Зайцева.

Харбин, 1938 г.



Всѣ права сохранены за автором.

Два старика, у которых вся жизнь уже назади, мы сумерничали с „дѣдушкой“ за чаем у теплой печки, изрѣдка перебрасываясь словами о том и о сем. Случайно разговор коснулся вѣчной темы: Женщины.

— А вы знаете замѣчательную легенду Индіи о женщинѣ? — спросил я. — У одного царя родился сын. Глаза малютки были так слабы, что придворные врачи предстали пред царем и сказали: „до двадцати лѣтъ твой сын должен жить в подземельѣ—иначе слабые глаза его не вынесут солнца и он ослѣпнет навсегда.“ Царь повелѣлъ немедленно воздвигнуть для малютки подземные чертоги роскоши несказанной. И вот, по истеченіи двадцати лѣтъ, молодому человѣку было разрѣшено, наконец, врачами выйти на свѣтъ солнца и все видѣть, „чтобы он узнал имена всѣм вещам.“ Царь дал в сопровожденіе ему одного из своих министров, мудраго старца с бѣлой бородой. И он показал царевичу и роскошные дворцы, и боевыя колесницы, и драгоцѣнное оружіе, и слонов, и всякія дѣла человѣческія под солнцем и так, постепенно, тот узнал имена всѣм вещам. И вдруг увидал он молодых и прекрасных женщин. „А это что?“ — спросил он, смутившись неизвѣстно чего. Министр усмѣхнулся в свою бѣлую бороду и, шутя, сказал: „это дьяволы, созданные на погибель

человѣка"... И, когда к ночи царевич, усталый, вернулся во дворец, отец, радостный, спросил его: „ну, что же тебѣ понравилось под солнцем болѣе всего, милый сын мой?“ И юноша, не колеблясь, отвѣчал: „дьяволы, созданные на погибель человѣка...“ Ну, как вам нравится эта индусская легенда, дѣдушка? — спросил я. — И вы замѣтите: я нашел ее в *Legenda Sanctorum*, в житіях святых, собранных старыми монахами...

И, помолчав, старик тихо отвѣтил:

— Но женщина в концѣ концов такой же обман, как и все в жизни...

Я долго молчал: сердцу не хотѣлось согласиться.

— Может быть, — сказал я, наконец. — Но всякая женщина „обманывает“ нас по своему и потому обман их всегда нов и потому вѣчен. Именно в этом-то и заключается страшная сила этих милых „дьяволов“, созданных для высшей радости человѣка...



Человѣкъ чувствует себя безконечным: какія усилія проникнуть до истоков своего существованія он ни дѣлал бы, конца себѣ он не находит. Какое далекое происшествіе из сгорѣвших дней он ни припомнил бы, всегда остается чувство, что за этим событіем было еще что-то, чего я уже не знаю. Мое первое воспоминаніе—прививка оспы. Я сижу на руках у матери в гостиной и какой-то чужой дядя в очках, доктор, подмазывается ко мнѣ, обѣщая нарисовать мнѣ на ручкѣ лошадку. Мама, теплая, пріятная, моя, поддерживает его и мнѣ это непріятно: я ему не вѣрю. Потом острый укол и бурныя слезы: мои и матери, которой жалко своего любимца. И, мокрая от слез, теплая, она еще жарче, вмѣстѣ с обманщиком—дядей, уговаривает меня дать ручку еще раз: теперь выйдет уж не только лошадка, но и птичка... Так как мать моя умерла, когда мнѣ было четыре года, все это, значит, было до четырех лѣтъ. А дальше—мрак, безконечность, из которой я пришел, и куда, устав от всѣх наших глупостей, но с грустью — нелѣпица жизни все же так упоительна!...—я ухожу.

Всего страннѣе, что я никак не могу вспомнить своей первой любви. Знаю только, что женщина постучалась в мое сердце очень рано. Первое движеніе во мнѣ огня Эроса было, кажется мнѣ, когда мнѣ было не больше семи лѣтъ, но все это смутно, тяжело и страшно. А первым живым женским образом постучалась в мое сердце худенькая Леля Т. с ея длинными косами. И ей — и

мнѣ—было, кажется, в это время лѣтъ восемь или девять. Когда Леля появлялась на нашем огромном дворѣ с своим братом Костей, моим пріятелем, я испытывал величайшее смущеніе и становился неестественным настолько, что часто сам себя не узнавал. Больше всего нравилась мнѣ тогда маска героя. Герой же представлялся мнѣ человеком, который много и дико кричит неизвѣстно почему, дѣлает много грубых и совершенно бесполезных жестов, страшно и безобразно вращает глазами и вообще очень смахивает на бѣснаго сумасшедшаго. Я думаю, что мое тогдашнее представление о героѣ было не далеко от истины. посмотрите учебники исторіи или американскія фильмы с их ковбоями, бандитами и всякой другой сволочью, выпускаемой на экран для восхищенія модисток и вообще демократіи... Как и всѣ герои, я очень много лгал. У нас на дворѣ был, напримѣр, огромный датскій дог Мухтар, у котораго была дьявольская привычка: как только он видѣл пред собой бѣгущую маленькую фигурку, —ну, при игрѣ в горѣлки, напримѣр, — так он сейчас же срывался с мѣста, львиными прыжками настигал „добычу“, сбивал ее с ног и, страшно рыча, начинал будто бы рвать ее в клочки. Боялся я этого дьявола с желтыми глазами и огромной пастью страшно, но если на дворѣ была Леля, я становился в молодецкую позу и начинал командовать:

— Ты... там... Мухтар!... Не смѣй!... Иди сюда...

Мухтар был, повидимому, не глуп и героев в исторіи не признавал. Меня во всяком случаѣ он, проклятый, видѣл своими желтыми глазами насквозь, всѣ мои героическіе жесты не ставил и в грош, а когда подходил нужный момент, без малѣйшаго стѣсненія сшибал меня с ног и, рыча, рвал на части. Мнѣ было это очень страшно и



очень стыдно, а когда Леля начинала отбивать меня у чудовища, то и очень сладко.

Особенное геройство проявлял я, когда мы играли в индѣйцы или в пираты. Я, Молодой Орел, страшно выл и визжал, бурей носился по преріям с моим окровавленным томагавком за блѣднолицыми и яростно снимал с них скальпы, за что раз и получил от Кости здоровую затрещину... И с каким священным восторгом вопил я—не в обиду будь сказано женевским миротворцам!... — „на абордаж!...“, когда мы, вольные пираты, настигали, наконец, королевскій фрегат под командой моего смертельного врага — это опять был Костя — графа Мопассан де Монтескье! Я звѣрствовал так, что во всѣх окнах показывались встревоженные головы: уж не пожар ли, храни Бог?... а у меня самого мороз по кожѣ ползал от восторга пред моей отчаянностью... Понятно, всѣ мои военные операціи я вел так, чтобы Леля видѣла мое геройство, и я всегда старался попасть в ту партію, которая защищала Лелю до послѣдней капли крови. Вполнѣ понятная скромность заставляла меня умирать за нее так, чтобы она и не подозрѣвала о моем подвигѣ, но если я все же чувствовал, что она хоть уголком глаза видит его, я был в восхищеніи...

Раз на мою долю выпал сладкій жребій охранять блѣднолицую плѣнницу, маркизу де Роган, которую мы, послѣдніе могикане, похитили у нея на гаціендѣ. Она—то-есть Леля—сидѣла среди золотых одуванчиков за будкой, в которой лежал проклятый Мухтар, а я с вѣрным томагавком в руках и безстрастным лицом—как всѣм извѣстно, выдать хоть малѣйшее волненіе является величайшим позором для краснокожаго воина — стоял около нея на часах: наши дозоры донесли, что блѣднолицыя собаки близко и, повидимому, готовят нападеніе на наши вигвамы. Мое положеніе



было не из завидных: мнѣ нужно было наблюдать и за движеніями блѣднолицыхъ, и за проклятымъ Мухтаромъ, который шурил на меня свои желтые глаза, и за собой, чтобы не дать охватившему меня от близости красавицы-маркизы волненію отразиться на моемъ суровомъ лицѣ воина. И затѣмъ: что дѣлать в случаѣ нападенія блѣднолицыхъ? О томъ, чтобы отдать имъ Лелю, не могло быть, понятно, и рѣчи. Слѣдовательно, оставалось или разломжить ей в послѣдній моментъ голову моимъ томагавкомъ и самому умереть у ея ножек, или, наоборотъ, — и это было много слаще, — бѣжать съ блѣднолицей дѣвушкой на моемъ пѣгомъ мустангѣ в дѣвственныя преріи... Но согласится ли она послѣдовать за врагомъ, который столько разъ обогрилъ свой томагавкъ в крови ея соплеменниковъ? Сердце мое билось: из-за угла уже выглядывали носы блѣднолицыхъ собакъ. Для колебаній времени больше не было, да и вообще не пристало суровому воину какъ-то тамъ колебаться: что онъ, слабая женщина или что?...

— Леля...—хриплымъ шопотомъ сурово сказалъ я. — Сейчасъ блѣднолицыя нападутъ на наши вигамы. Что я долженъ дѣлать: убить тебя и умереть у твоихъ ногъ или... или мы бѣжимъ съ тобой на моей пѣгой „Вампукъ“ в Скалистыя горы?

Леля гордо выпрямилась, смѣрила меня презрительнымъ взглядомъ своихъ хорошенькихъ глазокъ и процѣдила сквозь зубки:

— Краснокожая собака!... Разумѣется, ты долженъ убить меня, но мнѣ совершенно безразлично, умрешь ты у моихъ ногъ или нѣтъ. Во всякомъ случаѣ, я предпочитаю, чтобы мои соплеменники, какъ и подобаетъ храбрымъ воинамъ, сожгли бы тебя живьемъ... Но бѣжать съ тобой—никогда блѣднолицая дѣвушка не..

Но ее прервала оживленная стрѣльба напа-

дающих.—Пу... пу... пу...—били они из своих мѣтких Винчестеров.—Пу... пу...—Краснокожі воины с презрѣніем в глазах осыпали их отравленными стрѣлами. Но наши ряды быстро рѣдѣли под их смертоносными пулями... Проклятый Мухтар уже наострил свои уши и его глаза бдительно слѣдили за событіями. Он был одинаково равнодушен как к красным, так и к бѣлым и, как всегда, выбирал себѣ жертву среди тѣх, которые наиболѣе суетились, т. е. среди героев. Много блѣднолицых пало уже под нашими мѣткими стрѣлами, но они бились с бѣшеной отвагой за блѣднолицую плѣнницу и наступали все ближе и ближе. Еще немного, наши ряды поколебались и — с измѣнившимся личиком Леля вдруг схватила мою руку:

— Скорѣе!... Я не переживу твоей гибели, воин... В преріи!..

У меня выросли крылья. Мы готовы были уже унести на моей „Вампукъ“ в Скалистыя горы, — это был большой лѣсной склад за нашим двором, — но на пути нашем встало препятствіе: проклятый Мухтар. Блѣднолицые с побѣдными криками наступали все ближе и ближе. Вдруг Бѣлый Сокол яростно бросился на виконта Даршіак де Ферлякур, вождя блѣднолицых. Тот не выдержал бѣшенатаиска храбраго воина и позорно побѣжал, Сокол за ним, а за Соколом — Мухтар. Еще мгновеніе и Сокол лежал среди золотых одуванчиков в травѣ. Разорвав его на части, Мухтар бросился за виконтом. Леля дикой козочкой понеслась в дѣвственные преріи, а я за ней... Мы забились среди золотых штабелей досок, от которых восхитительно пахло смолой и майским солнцем. В моей душѣ гремѣли гимны: блѣднолицая дѣвушка в минуту смертельной опасности выдала свою роковую тайну: она любила врага своих соплеменников!... Но враг этот не знал, как обходят-



ся с блѣднолицыми дѣвушками. Вдали все гремѣла еще битва: пу... пу... пу... И Молодой Орел сказал:

— Мухтара надо обязательно привязывать: он портит все. Совершенно невозможно теперь рѣшить, кто побѣдил, виконт или Бѣлый Сокол, так как оба они валяются в травѣ...

— Побѣдил Сокол, потому что виконт бѣжал...—сказала Леля, стараясь не смотрѣть на меня.

— Но виконт мог оправиться—он не был даже ранен—и снова броситься на врага... — возразил я, глядя на воробьев наверху штабели. — Наконец, к нему могли подоспѣть на выручку блѣднолицые...

Но было чего-то стыдно, тѣсно, мучительно и блаженно... Если бы мнѣ сказали тогда, что это и есть любовь, о которой говорится так стыдно у Майн Рида и Фенимора Купера, то я, вѣроятно, очень сконфузился бы и не повѣрил. Нужно было не мало лѣтъ, чтобы, вспоминая у догорающаго огонька Лелю, и наши кровавыя битвы, и геройскіе подвиги, и проклятаго Мухтара, и все, понять, что это была самая настоящая любовь... Так рано?.. Ну, да, что же тут дѣлать?.. Не сказал ли наш милый Пушкин, что любви всѣ возрасты покорны? Не исключив из ея жертв приготовишек, славный поэт, думается мнѣ, поступил весьма мудро...

\* \* \*

Мнѣ было двѣнадцать лѣтъ. Женская красота была для меня источником безконечнаго очарованія. Я молился женщинѣ. Их власть надо мной была безгранична и я с гордостью, с восторгом цѣловалъ тѣ цѣпи, которыми онѣ опутывали мою жизнь. На небосклонѣ ея одна звѣздочка подымалась за другой, одна уходила, другая восходила, без конца



—точно я хотѣлъ захватить их себѣ всѣ. И было больно, что та, прежняя, уходит, и было радостно, что эта, новая, восходит...

Мнѣ было, говорю, двѣнадцать лѣтъ. Ей тоже около этого. Она была, понятно, прекраснѣе всѣх на свѣтѣ, а тяжелая, темно-русая, с золотом, коса ея пьянила. Я всячески бѣгал от нея, а когда спрятаться было уже никак нельзя, я становился с ней не только суровым, но даже свирѣпым: я не знал другого способа скрыть от нея мой трепет, это сладкое біеніе сердца, этот внезапно проступавшій, предательскій румянец. Но, должно быть, моя суровость не очень обманывала ее: не даром, не даром смѣялись так нѣжно, так лукаво ея прелестные глазки, когда она смотрѣла на мое суровое, почти звѣрское лицо!..

В одиночествѣ я сладко мечтал о страшном землетрясеніи,—впрочем, и всемірный потоп был тут совсѣм не плох...—которое разрушило бы на землѣ все — кромѣ нея, меня и, пожалуй, моего пріятеля Сережи, которому я повѣрял и мою любовь, и мои сладкія мечты о всемірной катастрофѣ. Необходимо было, впрочем, сохранить еще как-нибудь и пару хороших охотничьих собак. Правда, я тогда не совсѣм твердо знал, как надо обходиться с охотничьими собаками, но я был убѣжден, что для полноты счастья ружья и собаки рѣшительно необходимы. И так вот мы и жили бы втроем на опустѣвшей землѣ, кочуя с одного мѣста на другое, охотясь и любя. Вѣроятно, Сережа чувствовал бы себя без подруги нѣсколько одиноко, но что же дѣлать? Дать ему тоже подругу, хотя бы в мечтѣ, мнѣ что-то не хотѣлось...

Иногда, совершенствуя в красотѣ и удобствах мечту мою, я думал не о всемірной катастрофѣ, а только о хорошеньком кораблекрушеніи. Корабль, на котором плывут всѣ мои красавицы и,

конечно, я, вдруг разбивается о «коралловые рифы» и всё гибнут в волнах и на зубах у акул — кроме моих красавиц и меня. И так и жили бы мы всё вмѣстѣ вдали от міра, на солнечном островѣ, среди цвѣтов и наслаждались бы своей свободой и любовью, при чем, конечно, я любил бы всѣх их, а онѣ, прекрасныя гуріи, всё — меня: я был тогда молод, сердца человѣческаго не знал и вѣрил солнечным сказкам...

Сережа был поэтом и писал поэтому очень много всяких стихов. Я до сих пор помню его «Осень»:

Осень наступила, листья пожелтѣли,  
Цѣлый день все дождик льет как из ведра,  
В теплый край всё птицы уже улетѣли,—  
Осени настала скучная пора...

Галки и вороны стаями летают,  
В воздухѣ кружатся, крыльями шумя,  
Вѣтер, завывая, скуку нагоняет,—  
Осени настала скучная пора...

От себя Сережа вложил тут, пожалуй, и немного, но для двѣнадцати лѣт это все же, кажется, недурно.

Помню я и другіе стихи Сережи, а в особенности его акrostих, который он по моему заказу написал в честь моей красавицы:

Ах, как вы милы, хороши,  
Любовью дышите отрадной,  
Есть в вас всё прелести души,  
К вам всё стремятся с страстью жадной! \*)  
Совсѣм вы фея красоты,

---

\*) Этот стих я терпѣть не мог. Никто не смѣет «стремиться»...

Антично сложены манеры,  
Но не сорвешь цвѣтка любви,  
Достойным быть чтоб вашей сферы.  
Румянѣй розы вы цвѣтете,  
А щечки ваши так милы,—  
Совсѣм богиней вы живете,  
Так дивно вы собой стройны...  
Есть много барышень красивых,—  
Поэзіи сей полон слог,—  
А больше все из них спѣсивых,  
Но я себя уж превозмог...

Впрочем, довольно. Вѣдь акростихом называется такое стихотвореніе — если не ошибаюсь: путаться я стал что-то в этих штуках... — начальныя буквы котораго могут открыть завѣтное имя, а я совсѣм не хочу, чтобы весь мір узнал, кого я так свирѣпо любил, когда мнѣ было двѣнадцать лѣтъ. Прочитав тогда эти стихи, я с восторгом сказал Сережѣ, что со временем он станет, конечно, великим поэтом — может быть, даже поздороваше Пушкина. Себѣ же я прочил славу писателя-прозаика, хотя это и очень мѣшало моей мечтѣ о великом землетрясеніи: какая же слава в одиночку? Должен однако прибавить, что в моих предположеніях я ошибся: Сережа стал со временем бухгалтером, а я... впрочем, что же говорить о всяких пустяках!..

Ах, милые годы, когда так упоительно мечталось, когда так легко любилося, когда вся жизнь была впереди!..

\* \* \*

Наша гимназія помѣщалась на Мясницкой, а неподалеку от нея, у „Харитонія — Огородника“, как говорили кондовые москвичи, тяжело и твердо возвышалось огромное Филаретовское епар-



хiальное училище, в котором премудрости книжной обучались молоденькія поповны со всей Москвы... Жизнь была тогда устроена преотвратительно, — ибо у нас занятія кончались в половинѣ четвертаго, а у епархіалок, точно на зло, в три. Молодые дон - Жуаны, мы жадно слѣдили в огромныя окна, как по оживленной Мясницкой, с книжками в руках, расходились по домам эти часто очень и очень милыя поповны. Прелестник - дьявол, как это совершенно справедливо утверждают батюшки, очень лукав и мы, сѣрые арестанты сѣрой казенной науки, все же находили с его помощью способы видѣть наших чаровниц и ближе: то „голова болит“, то „желудок разстроен“, жалобно докладывали мы директору Костѣ, и весело уносились на вольную волюшку и повергали весьма вѣрноподанически наши сердца к ножкам наших прелестных сосѣдок...

Я избрал себѣ для поклоненія двух,—почему только двух, я сказать теперь, к сожалѣнію, не могу: вѣроятно, богатство выбора путало. Одна была румяная, крѣпкая, смѣлая, настоящее дитя земли, а другая тоненькая, хрупкая, акварельная, нѣжная, точно ангел небесный, слетѣвшій на короткое время на грѣшную землю Москвы, к Харитонію Огороднику. Больше меня тянуло к ангелу, но, несмотря на ея нѣжныя улыбки, она была для меня почему-то недоступнѣе, а потому сперва я устремился сердцем за земной. Ей было, вѣроятно, как и ангелу, лѣтъ четырнадцать-пятнадцать...

И вот раз, освободившись от узилища школы посредством сакраментальнаго заклинанія—„желудок разстроен“, — мы с моим пріятелем Версиловым устроили на милых тѣней засаду. Версилов был ужасающе безобразен, но за то утончен до самой послѣдней степени. Он был помѣшан на романах из „великосвѣтской“ жизни и даже фа-



милію свою передѣлал на барона Риткарт: стоит обычное для тогдашней Москвы слово „трактир“ прочесть сзади наперед, и получается звучное баронское имя... Мы увязались вдвоем — чтобы не было так страшно... — за земной и, свернув на Садовую, около Спасских казарм, с замирающим сердцем подошли к ней:

— Не позволите ли нам, барышня, проводить вас?..

И вдруг, к моему ужасу, — я и в тѣ далекіе дни был великим эстетом, — земная отвѣтила нам дьяконской октавой:

— Пожалуйста!..

В одно мгновеніе ока я слетѣл с седьмого — оно почему-то особенно цѣнится знатоками, — неба на Сухаревку, но, понятно, долг чести не позволил мнѣ сразу ударить отбой. И вот барон Риткарт, павлином распушив свой баронскій хвост, заблестал перед нашей дамой самыми велико-свѣтскими утонченностями, а я старался поразить ее больше дерзостью своих, а, может, лучше сказать, чужих мыслей... Не помню уж, удержался ли при ней барон, но я сразу оборвал все — ея голос пожарнаго убивал всякія иллюзіи, — и рѣшительно и цѣликом отдал свое сердце небесной.

В одиночку, несмотря на ея ангельскія улыбки, я подойти к ней не осмѣливался, а взять в компанію барона или Володьку я никак не хотѣл: в тихой часовенкѣ моей любви я хотѣл предстоять моей Мадоннѣ один... И я, издали, тоскуя, проводил ее иногда до дому и, погромыхая в ранцѣ пеналом, шел потом с грустью домой. Но дни шли, сердце становилось все нетерпѣливѣе и разстояніе между небесной гостьей и мной все уменьшалось. Костя, директор, удивлялся все растущей слабости моего здоровья: то „желудок разстроен“, то „голова болит“...

И вот раз я осмѣлѣлъ настолько, что, когда она скрылась в хорошо мнѣ знакомом под'ѣздѣ, слѣдом за ней я вошел в дом и в тоскѣ поднялъ лицо кверху: гдѣ она, мой нѣжный ангел? И вдруг—о счастье!.. — в бездонном пролетѣ гулких лѣстниц высокаго дома, на самом верху, точно в небѣ, я увидал прелестное личико, которое сіяло на меня чарующей улыбкой...

И это было все...

Но—нетерпѣливо воскликнет читатель—охота вам рассказывать такіе пустяки!.. Нѣтъ, я и теперь рѣшительно не думаю, что это были пустяки, — иначе уже уставшее сердце не берегло бы эту дѣвичью улыбку болѣе сорока лѣтъ. Это одна из дорогих жемчужинок, которую я поднялъ на земных дорогах и бережно спрятал в сокровищницу сердца. И с теплой благодарностью к Творцу и этому Его маленькому нѣжному ангелу я унесу ее с собой туда, гдѣ уже нѣтъ ни разстройства желудка, ни головной боли, ни печали, ни воздыханія, ни любви...

\* \* \*

На Чистых Прудах у нас вдруг появилась хорошенькая смуглянка с задорным личиком и черными глазками, блистательно одѣтая, лѣтъ пятнадцати, вѣроятно. Ее всегда, не отставая ни на шаг, сопровождал ее брат, пригостишка в формѣ какого-то учебнаго заведенія. Было совершенно очевидно, что он прикомандирован к красавицѣ подлежащею властью на предмет надзора и охраны. Между прелестным созданием этим и мной, одинокой, непонятной душой,—я был, кажется, уже в третьем классѣ и очень разочарован в жизни... — скоро установился беспроволочный телефон молодой любви, который очень выгодно отличался от современнаго, хрипящаго, рычащаго и плюю-



шагося радіо совершенством своей конструкціи и безукоризненной вѣрностью передачи. Черные глаза говорили мнѣ столько блаженного, что голова кружилась, но как быть с проклятым приготовишкой, который, вѣрный присягѣ, не отставал от сестры рѣшительно ни на шаг?..

Однажды я рѣшил издали проводить мою красавицу до дома. Замѣтив меня сзади, она проявила несомнѣнные знаки своего полного удовольствія. Оказалось, что она жила совсѣм близко, на Покровкѣ, в желтеньком особнячкѣ с мезонином, каких больше в Москвѣ уже не найдешь — развѣ гдѣ по окраинам... Я узнал, что хотѣл, но уйти, оторваться от желтенькаго особнячка я не мог никак. Майскія сумерки уже кротко окутывали город, уже рѣдѣла на Покровкѣ толпа, уже загорались кое-гдѣ огоньки, а я все ходил и ходил под окнами моей красавицы... И вот вдруг в мезонинѣ тихонько отворилось окно и, звонко щелкнув о плиты тротуара, к моим ногам упало толстое, тяжелое письмо. Я быстро поднял его и взглянул вверх, но окно уже закрылось. Взволнованный, радостный, торжествующій, я отошел подальше и у ярко-освѣщеннаго окна какой-то булочной, из которой чудесно пахло свѣжим хлѣбом, я торопливо вскрыл конверт. Там была только маленькая хорошенькая записная книжечка в красном бархатном переплетѣ, от которой шел сладкій запах „Персидской сирени“. На первой страничкѣ ея бисерным дѣвичьим почерком было написано:

Душно!.. Без счастья и воли  
Ночь безконечно длинна...  
Буря бы грянула, что ли,—  
Чаша с краями полна...

И ниже, еще мельче: „не забывайте вашу Лиду!“



Я вернулся к желтому наивному особнячку и долго и пламенно молился в ночи на слабо освещенное окно мезонина... А когда на другой день я встрѣтился с красавицей — она была, как всегда, под конвоем гнуснаго пригостишки, — на Чистых Прудах, она потупила глазки и стыдливо зардѣлась... Я был готов бросить в пруд окаяннаго пригостишку, но надобности в этом не оказалось: Лидочка вдруг остановилась, дала ему из маленькаго партмонэ двугривенный и он озабоченно скрылся в кондитерской Виноградова, на окнах которой четко стояло: Мороженое. Лидочка в одну секунду смѣшалась с потоком гуляющих и я, не помню уж как, очутился вдруг рядом с ней сперва тут, на Чистых, а потом, точно чудом каким, на каком-то солнечном пустынном скверикѣ, гдѣ-то у Красных Ворот, на скамейкѣ, рядом...

Я не помню ни одного слова из того, что мы, охваченные смятеніем, говорили, но надо полагать, что я блистал: я в это время читал уже Писарева... И помню неувловимое движеніе смугляночки ко мнѣ и восхитительный ожег ея поцѣлуя на моей щекѣ. Это был первый поцѣлуй женщины за всю мою долгую, четырнадцатилѣтнюю жизнь. И это показалось нам обоим так страшно, что повторить поцѣлуя Лидочка не рѣшалась, а обо мнѣ уж и говорить нечего... А чрез нѣсколько дней — проклятый пригостишка не отпускалъ больше Лидочку ни на шаг, — она уѣхала на дачу в Пушкино и стала писать мнѣ оттуда душистыя письма — сперва в 4 страницы, а потом в 3½, потом в 2½, потом в 1 каждый день, потом в 1 чрез два дня, потом в ½ чрез три дня и—ро-со а росо (*diminuendo*)—все тихонько кончилось...

Впрочем, не совсѣм: чрез нѣсколько лѣтъ на одной богатой свадьбѣ, средѣ шумнаго бала, случайно, в тревогах мірской суеты, я встрѣтил свою

милую смуглянку в блестящем вечернем платьѣ. Она узнала меня, — я был тогда молодым чело-  
вѣком со средствами, но „без опредѣленных за-  
нятій“ — но только гордо вскинула свою черную  
головку и взяла под-руку почтенных лѣтъ джентль-  
мена во фракѣ с каким-то сіяющим крестом под  
бѣлым галстуком. Это был ея супруг. Он, ясно,  
стоял никак не ниже статскаго совѣтника, а, мо-  
жет, был даже и дѣйствительным статским... Мнѣ  
стало что-то вдруг грустно и я уѣхал с бала до  
ужина, за что мнѣ потом влетѣло от отца: на ба-  
лу, как оказывалось, были весьма подходящіе мнѣ  
невѣсты...

\* \* \*

Мнѣ пятнадцать лѣтъ. Я ношу гимназическую  
фуражку набекрень, говорю, понятно, басом, ме-  
чтаю об ослѣпительном гусарском мундирѣ и, си-  
дя на Камчаткѣ, от всей души презираю всѣх  
этих там учителей с разными их там алгебрами,  
географіями, тригонометріями, спряженіями и про-  
чими презрѣнными выдумками безпокойнаго ума  
человѣческаго: ну, скажите пожалуйста, на что  
нужна какая-то тригонометрія лихому гусару?... В  
свободное от школы время мы, будущіе кавале-  
ристы, таскаемся по бульварам, перемигиваемся с  
дѣвицами и вообще принимаем посильное участіе  
в свѣтской жизни...

И с Луизой я встрѣтился на бульварѣ, гдѣ  
она всегда гуляла в опредѣленный час. Какая-то  
особенно чистая и тихая атмосфера окружала эту  
стройную дѣвочку-подростка с миловидным ли-  
чиком. Я не смѣлъ подойти и заговорить с ней,  
как это слѣдовало бы по-гусарски. Но Луиза и  
издали догадывалась о моей любви... И вот раз  
мы очутились с ней рядом на скамейкѣ — может  
быть, и не совсѣм нечаянно... Я обмирал. Она со-



всѣм просто обратилась ко мнѣ с каким-то вопросом и знакомство завязалось. И чуть ли не в тот же вечер, дождавшись сумерек, — чтобы не было так стыдно... — мы узнали, что любим один другого... И я стал чрезвычайно гордиться, что у меня уже есть вот настоящая возлюбленная — цѣловались мы, дѣйствительно, очень много, — и что зовут ее не Катя, не Маша, не Оля, а Луиза...

И было в этой тихой, милой дѣвушкѣ, повторяю, что-то такое, что освобождало меня хоть на время от моего, должен признаться, довольно тягостнаго гусарства. Я переставал рычать при ней басом, заламывал фуражку на ухо только в самых уже крайних случаях, когда нужно было доказать товарищам, что я не измѣнил долгу чести, что по прежнему я лихой гусар. Тогда я, обращаясь к кому-нибудь из камчадалов и дѣлая великолѣпные жесты, густым басом читал пушкинскіе стихи:

Мы ждем тебя. Спѣши, Бухаров,  
Брось царскосельских соловьев,—  
Среди товарищей-гусаров  
Обычный кубок твой готов!..

„Бухаров“ солидно слушал, но, видимо, сомнѣвался, приличествует ли гусарам говорить какими-то там стихами: это напоминало хрестоматію, то есть, что-то такое мальчишеское, презрѣнное...

И на моем „Иловайском“, в пику историку и всей вселенной, я лихо, размашистым почерком чертил из Лермонтова:

Не даром она, не даром,  
С отставным гусаром...

Но, когда среди нашего разговора о женщинах — мы всѣ были великими знатоками в этой



возвышенной области, — я вспоминал, что в партѣ у меня, в геометріи, лежит, завернутый в тонкую бумажку, портрет Луизы, я замолкал и мнѣ становилось грустно от моего гусарства и отчаянности...

А вечером, мокрым осенним вечером, мы встрѣчались с Луизой на Чистых Прудах, в пустынных и мокрых аллеях. Может быть, большой и грязный город был и не очень поэтической рамкой для нашей молодой любви, но с другой стороны, как хорошо, как уютно чувствовали мы себя вдвоем среди этой каменной, безбрежной пустыни города, гдѣ никто, никто не знал о великой, священной тайнѣ нашей любви!.. И моя гусарская душа, так жестоко разочаровавшаяся уже в жизни — нисколько не хуже Лермонтова!.. — отогрѣвалась в ея простых, милых, теплых словах, в тихом сіяніи ея прелестных глаз, в ея трепетных поцѣлуях...

Мнѣ вспоминается один такой холодный, черный вечер ранней зимы, когда в тихом воздухѣ стоял нѣжный аромат свѣже-выпавшаго снѣга. Мы стояли в темном под'ѣздѣ дома, гдѣ жила Луиза, — как раз против церкви Воскресенія в Барашах, — все прощались и все никак не могли проститься окончательно, все никак не могли сказать послѣдняго слова, потому что, сказав его, мы видѣли, что надо сказать еще одно, уже самое послѣднее слово.

— Ай, отец!..

И Луиза пугливо отстранилась от меня. К нам, слабо освѣщенный уличным фонарем, подходил аккуратненькій, худенькій старичек с бѣлой бородкой и добрым усталым лицом.

— Скажи, что ты Л., наш знакомый... — то-ропливо прошептала Луиза. — В темнотѣ он не узнает... Смотри, не оплошай!..

Я самым чудесным образом расшаркался.

— Ты не узнаешь, папа? — невинно спросила маленькая женщина. — Это Л.

— А—а, очень рад!.. — всматриваясь в меня близорукими глазами, ласково сказал старичек... — Ну, как дѣдушка?

— Благодарю вас... — обмирая, отвѣчал я. — Прихварывает...

— Так, так... Ну, уж это ваше дѣло жить, а наше прихварывать. Что же ты, Лили, не зовешь его к нам? А—а, нѣтъ времени, уроки... Ну, заглядывайте в другой раз... Кланяйтесь дѣдушкѣ...

Он ушел. Нам было неловко. Я и теперь не совсѣм убѣжден, что он, дѣйствительно, принял меня за Л. Кто знает, может быть старик—у него были такіе усталые, добрые глаза... — просто не захотѣл спугнуть нашего молодого, смѣшного, совсѣм невиннаго счастья. Кому оно в концѣ концов мѣшало?

Я не помню, как кончилась наша любовь — вѣроятно, так же, как кончается и всякая любовь на землѣ... И понемногу я забыл о милой дѣвушкѣ...

И вот раз, уже много лѣтъ спустя, сижу я как-то на Чистых Прудах, отдыхаю... И вдруг вижу я, идет высокая, худая, некрасивая дама. Она так погружена в себя, что не смотрит ни на кого и ни на что. И что-то забытое, но несомнѣнно когда-то близкое мелькнуло мнѣ вдруг в этом усталом, озабоченном и грустном лицѣ...

Боже мой, да это Луиза!..

Первым движеніем моим было броситься к ней. Но я сразу же и осѣкся: зачѣм? Пусть мертвые спятъ спокойно в своих могилах... И она проходила мимо, не подымая глаз, а я смотрѣлъ на нее и душа моя плакала: да, видно, жизнь не была слишком ласкова к тебѣ, милая дѣвушка!..



И она прошла, ушла, затерялась в толпѣ—на этот раз уже навсегда.

\* \* \*

— Володька? — своим пятнадцатилѣтним басом прорычал я презрительно. — Володька хороший парень, но он дурак...

— А я вот этого не нахожу!.. — сказала Лизочка, пухленькая блондинка с бойкими московскими глазками, в синей плюшевой шубкѣ, и самым свѣтским образом заиргала носком своей очаровательной ножки. — Вы говорите это только так, чтобы позлить меня.

— Вот уж и не думал!... — с презрѣніем прорычал я.

В самом дѣлѣ, Володька, мой пріятель, был очень глуп. Связывала меня с ним только наша безграничная преданность Сумскому драгунскому—его королевскаго высочества наслѣднаго принца датскаго—полку, в рядах котораго мы мечтали сложить когда-нибудь наши буйныя головы. Мы очень хорошо знали, что есть полки и блестящѣе, но в сумцах было для нас что-то свое, родное, московское, что мы знали и любили с дѣтства... Кромѣ глупости, у Володьки был и еще один противный недостаток: он был моим соперником у пухленькой Лизочки, потому что он катался на коньках со всякими вывертами, а я очень плохо и робко, боясь растянуться на льду и тѣм навѣки опозорить себя в глазах Лизочки. Кромѣ того, у Володьки уже пробивались темные усики, что, как извѣстно, является в жизни весьма существенным преимуществом... Но все же что-то подсказывало мнѣ, что Лизочка колеблется в своем выборѣ, и что, даже выписывая с Володькой всякіе дурацкіе кренделя на льду Чистых Прудов, она тянется ко



мнѣ. И потому в разговорах с ней я употреблял только бассо профудно и говорил вещи отмѣнно значительныя, не понимая, что главным образом этим я и отталкиваю ее больше всего. Она была воистину птичка Божія и не желала знать ни заботы, ни труда, ни головоломных разговоров на заоблачныя темы. И в этом, в сущности, и было одно из ея главных очарованій...

Неопредѣленность положенія мнѣ, наконец, надоѣла: вопреки Юлію Цезарю, я хотѣл быть первым и в деревнѣ, и в городѣ, и гдѣ бы то ни было, а для этого прежде всего надо было рѣшительно отшить Володьку. Может быть, когда-нибудь мы и будем вмѣстѣ с ним умирать под старым знаменем сумцов, но пока не отсвѣчивай... И я назначил Лизочкѣ свиданіе в ближайшее же воскресенье „на Чистых“, но не в четыре часа, как мы обыкновенно встрѣчались, а в час, чтобы подкузьмить Володьку. Надвигалась весна, каток закрылся и дураку уже нельзя было больше блистать своими дурацкими вензелями перед Лизочкой. Улицы превратились уже в шоколадное мѣсиво, вдоль тротуаров весело неслись потоки мутной солнечной воды, по которым презрѣнные пригостишки пускали щепки, воображая, что это корабли самого Колумба или Америго Веспуччи, и воробы по карнизам с ума сходили от любви. И едва мы — сердчишки у нас бились не хуже, чѣм у воробьев... — завидѣли один другого, как я, предвидя возможность предательской вылазки со стороны Володьки, небрежно прорычал:

— Мнѣ, наконец, надоѣло топтаться по этим Чистым Прудам... Пойдемте лучше в Кремль...

— Хорошо... — разнѣжившись от весны, осіяла меня Лизочка бѣлыми зубками.

В веселой весенней сутолокѣ мы направились к Кремлю, полюбовались его нарядными

башнями, обошли старые соборы, я сурово погордился перед французскими пушками и, так как вездѣ болтались неизвѣстно зачѣм люди, я сказал Лизочкѣ:

— Полѣзем на Ивана Великаго...

Она угадала мою мысль, — там, на высотѣ, мы будем одни... — прелестно зарумянилась и сказала:

— Полѣзем!

И мы, задыхаясь, полѣзли безконечными лѣстницами на колокольню. Изрѣдка останавливаясь, мы видѣли, как Кремль и вся Москва, безконечная, пестрая, уходят все ниже и ниже, как расширяется пѣгая и некрасивая по весеннему, но полная солнечной радости земля, как растут ввысь синія дали и становится ближе солнце, и лазурь, и бѣлые пухлые облака... Рѣзвый и веселый вѣшній вѣтер гудѣл и рвался в пролеты колокольни и глухо гудѣли под его мягкими ударами чудовищные колокола...

Выше, выше, выше!..

Сердце замирало не только от этой солнечной вышины, но и от близости жуткаго и желаннаго мгновенья: сегодня жребій должен был быть брошен и Рубикон под носом у Володьки перейден. Лизочка разругалась, нестерпимо похорошѣла и это в значительной степени облегчало переход Рубикона. Она была и немножко смущена, и радостна и мнѣ казалось, что она поняла, наконец, что в жизни есть кое-что и помимо идиотских кренделей на льду и что без кренделей Володька совсѣм уж прѣсен...

Выше, выше, выше!..

Рвет вѣтер, гудят колокола, вокруг солнечный простор, а в груди восторженные набаты весны... И вот, наконец, мы, задыхающіеся, сму-



щенные, на самом верху. И ждать невозможно...

— Лизочка...

И над солнечной бездной, под пухлыми облаками, среди торжественного гуда колоколов, пред лицом, как научно говорится, урби ег орби, блаженно растаял первый поцѣлуй.... И долго, обнявшись, стояли мы там, в вышинѣ, над пѣгой землей, и вѣтер упруго шатал нас, и пьянило солнце, уединеніе и любовь... Лизочка сняла с умилительно-маленького пальчика колечко с бирюзой и надѣла мнѣ его на мизинец:

— Смотри: не забывай меня!..

Обыкновенно Лизочка носила два колечка, одно с бриллиантом, другое с бирюзой, но на этот раз на ручкѣ было у нея только это, бирюзовое. Но это было не важно: потрясающе было то, что я получил от женщины—Лизочкѣ, в самом дѣлѣ, было уже почти шестнадцать, — первое колечко... Я был счастлив, как бог. И нисколько не удивительно: и урби, и орби, как научно говорится, лежали у моих ног...

Мы проблаженствовали с ней весь день, истратили всѣ наши капиталы на филипповскіе пирожки и пирожныя и только вечером проводил я свою милую домой. А когда на утро я встрѣтился в классѣ с Володькой, нахал, подбочившись, сунул мнѣ под нос свою гнусную лапу: на мизинцѣ его сіяло колечко с бриллиантом.

— Видал миндал? — сказал негодяй.

„Гм... Значит, еще до Ивана Велкикаго получил... — подумал я. — И мнѣ с бирюзой, а ему с бриллиантом... Прав Толстой в своем презрѣніи к женщинам!... „И опять: я не смѣл надѣть колечка в гимназіи — в „правилах“ было написано, что „ношеніе усов, бороды, колец, брелоков и пр. строго воспрещается“, нам гимназистам, — а он,



прохвост, надѣл и бахвалится... Жизнь омрачилась. В сердцѣ кроваво кипѣли замыслы безпощадной мести. Поэтому по алгебрѣ я получил единицу. Завернув колечко с бирюзой в страничку, вырванную из тетрадки по тригонометрии, я рѣшил занести его коварной тотчас же послѣ уроков и молча, с достоинством поклонившись, тотчас же удалиться. Но как только, трагическій, непонятный, с ранцем за плечами, я вышел за ворота, справа, вдали вдруг слышался мѣдный, волнующій грохот оркестра. Что такое?!

Еще немного и вдали, сверкая трубами, показались на бѣлых конях трубачи...

Сумцы!..

И вот мимо меня, оружіем на солнцѣ сверкая, ряды за рядами пошли под воинственный грохот марша на играющих конях мои милые сумцы. А—а, что там женщины с их колечками с бирюзой и без оной, и коварство их, и поцѣлуи— вот в чем настоящая жизни!.. Я видѣл равнины, дымы грозных битв, страшную лавину конной атаки и самого себя, эдакого сѣдого усача-рубачу, который, выхватив шашку, увлекает за собой любимый полк ко все новым и новым подвигам, ко все новой и новой славѣ...

Мнѣ вдруг бросилось красивое, но глуповатое лицо Володьки: разиня от восхищенія рот, он смотрѣл на лавину полка. Я сразу принял героическое рѣшеніе, презрительно прищурился и, подавая ему завернутое в бумажку бирюзовое колечко, с ледяным холодом в голосѣ проговорил:

— Не откажите, милостивый государь, в любезности передать это, при случаѣ, Лизочкѣ...

Но в горлѣ сѣдого усача-рубачи все же что-то дрогнуло...

А мимо нас, в строгом порядкѣ, оружіем на

солнцѣ сверкая, проходили под воинственные, зовущіе звуки марша сумцы...

\* \* \*

На запутанных путях моей жизни я встрѣчал женщин многих національностей и не одна из них бросила в мои дни цвѣты радости, но, обходя теперь, в сумерках старости, свѣтлые сонмы этих милых тѣней, я с удивленіем замѣчаю, что нѣмецкая женщина, нѣмецкая дѣвушка для моей âme slave имѣла всегда какую-то особую прелесть. Само собой разумѣется, что я говорю тут о том добром старом времени, когда в блистательной Германіи г. лейтенант был г. лейтенантом, фрау профессор—фрау профессор, сапожник—сапожником, экселленц—экселленц, бюргер—бюргером, а бурш—буршем, когда Германія не была еще опоганена современным гнусным американизмом, но цвѣла пышно и красиво по-своему. И было тогда в германской женщинѣ что-то удивительно ясное, покойное, гемютлих, что чаровало мою мятежную âme slave чрезвычайно...

Моя семья жила тогда „на Чистых“. Четыре уютных и теплых флигеля были раздѣлены—или соединены—одним общим двором, не теперешним ужасным двором-колодцем, в который страшно и заглянуть, а двором настоящим, на котором было и солнце, и благоухали по веснѣ старые тополя, и было довольно мѣста даже для старой и лихой лапты. На дверях одного из флигелей красовалась мѣдная солидная доска, гласившая сперва по-нѣмецки, а потом по-русски, что здѣсь помѣщается Германское Императорское и Королевское Генеральное Консульство. Мнѣ очень нравился пышный титул консульства, как и его величественный флаг, который иногда вывѣшивал гене-



ральный консул и который чужим видом своим напоминал мнѣ о далеких странах, в которых хорошо было бы побывать.

К этому времени, перейдя в пятый класс, я окончательно разочаровался в наукѣ. Я упорно искал у себя в маленькое зеркальце усов, старался говорить басом и рѣшил позаняться общественными вопросами. Я стал читать газеты и журналы, при чем чѣм статьи их были для меня непонятнѣе, тѣм большим уваженіем к себѣ я проникался. Так, незамѣтно, среди единиц и двоек, прошла зима и в воздухѣ повѣяло солнечной радостью весны. На старых тополях уже набухали почки, а кое-гдѣ на припекѣ уже весело высунулись остренькія иголки травки, в то время, как в тѣнистом палисадникѣ, за голой еще сиренью лежал послѣдній, ноздреватый и пахучій снѣг... И смутно, но сильно хотѣлось мнѣ тогда чего-то совсѣм необыкновеннаго, свѣтлаго, широкаго...

У императорскаго и королевскаго генеральнаго консула, чистаго, стильнаго нѣмца, с круглым животом и важным выбритым лицом, было двѣ дочки: тоненькая, изящная, черноволосая красавица Адель, лѣтъ пятнадцати, и младшая, бѣло-розовая, вся в прелестных ямочках, вся в золотѣ своих пышных кос Фанни. Был у консула еще и сын Рудька, в жилах котораго текла, повидимому, самая отмѣнная кровь Нибелунгов и всяких других героев, так как больше всего он любил лазить по самым недоступным крышам и гонять голубей. Адель больше всего любила прелестные вальсы Штрауса — это вам не джаз-банд!.. — а Фанни-жмурки...

И вот раз, когда на старых тополях набухли уже душистыя почки, я вдруг из-за своих проклятых учебников замѣтил, как поразительно хороши были обѣ сестры. Если я первой видѣл Адель,



прекраснѣе всего на свѣтѣ в этот день казалась мнѣ Адель, а встрѣчался я с Фанни,—лучше всего в мірѣ казалась мнѣ Фанни. Промучившись выбором цѣлую недѣлю, я кончил тѣм, что смертельно влюбился в обѣих. Цѣлыми днями над проклятой алгеброй или еще болѣе проклятой тригонометріей хрустальными вешними вечерами я только о том и мечтал, как бы бросить все и убѣжать с обѣими красавицами на край свѣта. И все чаще и чаще ставили мнѣ наши олимпійцы-учителя — в них тоже было что-то от императорскаго и королевскаго генеральнаго консула — в своих идіотских „журналах“ двойки и единицы...

Когда я случайно встрѣчался с красавицами под душистыми тополями, я всегда принимал вид человека в высшей степени занятаго научными соображеніями, в то время, как душа моя была переполнена весенними пѣснями. Поднимаясь к себѣ по лѣстницѣ, я невольно напѣвал любимую мелодію Чайковскаго:

...Как звук отдаленной свирѣли,  
Как моря играющій вал...

но моя буйная *âme slave* дѣлала вид, что она не только не интересуется отдаленной свирѣлью, но даже и не слышит ее...

Наскоро пообѣдав, я шел в свою комнатку и, посмотрѣвъ в зеркало, в порядкѣ ли мой пробор и достаточно ли интересна моя научная блѣдность, я садился с проклятой алгеброй к окну и, кося во двор, начинал заниматься. И только Господу Богу одному было извѣстно да развѣ моей блѣдной тетрадкѣ, какія штуки я вписывал в нее!.. Если там встрѣчалось, напримѣр:  $(a+b)^2 = a^2 + 2b +$  62 радость моя Адель + милая, милая Фанни“..., то

это было только наименьшим из моих математических открытій... Ав мягком сіяніи нѣжных весенних сумерек шла игра в нѣмецкія жмурки:

— *Yacobine, wo bist du?* — пѣла, как звук отдаленной свирѣли, красавица Адель, идя вперед с завязанными глазами и широко распростертыми руками.

— *Hier bin ich*—со всѣх сторон отвѣчали весело нѣмецкія дѣвицы и подростки.—*Hier bin ich!*

— *Yacobine, wo bist du?*—звучал голос, прелестный, как моря играющій вал.

— *Hier bin ich?*

И начиналась бѣготня, крики, смѣх, — Адель обняла толстый ствол старого тополя...

— Ваня, что вы это все сидите там с вашими книгами?... — весело крикнула мнѣ Фанни. — Неужели вам еще мало школы?... Идите играть...

Я весь затрепетал и сейчас же высунул уголок оранжеваго „Вѣстника Европы“, который был заготовлен мною на такой случай.

— Извините, я очень занят... — сказал я. — Мнѣ непременно нужно кончить сегодня послѣднюю книжку „Вѣстника Европы“...

— Европы, что?—подняла она ко мнѣ опять свои лазурные глазки.

— Вѣстника Европы... Это журнал такой... Передовой...

— Ах, да бросьте вы всѣ эти глупости!..—не терпѣливо крикнула Адель. — Идите скорѣе...

— Никак не могу... — хриплым от волненія голосом отвѣчал я. — Внутреннее обозрѣніе чрезвычайно интересно в этом номерѣ и...

Я, конечно, врал: в „Вѣстникѣ Европы“ я не понимал ни строки и вот тѣм не менѣе я жертвовал ему, проклятому, нѣжными радостями весны... Неужели же нужны еще доказательства сложности и неуловимости этой прекрасной *âme slave*?...

— Ах, какой вы!.. — махнула ручкой Фанни.  
И снова начиналась веселая возня:

— *Yacobine, wo bist du?*

— *Hier bin ich!*

Сердце разрывалось на части, в груди пылали гимны веснѣ и кровоточивой раной болѣло сознание, что я вот один... Но не может же сознательная личность играть в какія-то там нѣмецкія жмурки!.. „Врешь, врешь, подлец... — говорил какой-то тайный голос. — Просто робѣешь“...

— Дѣти, обѣдать... *Schnell!*.. — раздался из окна голос фрау генераль-консул. — А гдѣ же Рудя?

— Рудя, Рудя... — запѣла молодежь на всѣ лады. — Рудя, гдѣ ты?...

— *Hier bin ich!*..—отвѣчал голос Нибелунга с какого-то чердака.

— Обѣдать... *Schnell!*..

И когда, уходя, сперва черненькая Адель, а потом и бѣло-розовая Фанни украдкой бросили в мою сторону прощальный взгляд — но какой!.. —и „Вѣстник Европы“, и алгебра полетѣли к черту и на другое утро Глиста, — так ласково звали мы нашего математика, — закатил мнѣ в бальник единицу... Да какую!.. Хоть недѣлю бейся, ни за что не подчистишь... Но что была мнѣ единица, когда в душѣ моей пѣли колдовскіе звуки:

И голос твой нѣжный и томный  
С тѣх пор в моем сердцѣ звучит...

А старые тополя за ночь, послѣ теплаго дождичка, опушились клейкими пахучими листочками...

\* \* \*

И там же, под старыми тополями, разыгра-



лась и другая драма моя. Я совершенно сознательно пишу „драма“, ибо, если судьба отняла у меня навсегда и прелестную черненькую Адель, и обаятельную Фанни, развѣ это не драма? В жизни, в концѣ концов, все драма...

Раз молодая вешняя тоска томила меня особенно сильно. Под пахучими тополями все было тихо: мои красавицы куда-то исчезли. Я спустился во двор и, нахмутив брови, с „Вѣстником Европы“ в руках стал расхаживать под окнами императорскаго королевскаго генеральнаго консульства. И вдруг я замѣтил, что держу книгу вверх ногами. Я боязливо оглянулся, оправился и снова погрузился в большую статью по финансовым вопросам, украшенную очень хорошенькими столбиками каких-то цифр. А в душѣ все сладко пѣло:

И голос твой, нѣжный и томный,  
С тѣх пор в моем сердцѣ звучит...

Я осторожно покосился на императорскія и королевскія генеральныя окна и вдруг вздрогнул: из-за бѣленькой занавѣски в нѣжном сумракѣ на меня смотрѣли двѣ сѣрых, блестящих и невыразимо грустных звѣзды. Встрѣтись с моими глазами, звѣзды разом испуганно потухли... Что такое?!. Я опять углубился в рост золотой наличности Государственнаго Банка... Да, но что это такое?... Я сѣл на приземистую ветхую скамеечку у сирени — снѣга за ней уже не было, — отложил „Вѣстник Европы“ в сторону и задумался над финансовой политикой нашего правительства. Мнѣ казалось, что было бы хорошо теперь еще и закурить, но от папирос меня всегда тошнило... И — осторожно я покосился опять на окно.

У окна сидѣла дѣвушка лѣтъ семнадцати и, не поднимая болѣе своей прелестной головки,

шила. Машинка усердно стрекотала. У фрау генераль-консул всегда работали так бѣлошвейки со стороны — очевидно, это была новенькая... Но какіе глаза!.. Сколько в них страданія и печали... Нѣтъ, это вам не нѣмецкая ясность и безмятежность...

Дѣвушка встала, закрыла машинку и стала прибирать работу. Я понял, что она сейчас уйдет, встал и с озабоченным видом пошел к себѣ, чтобы разрѣшить, наконец, всю эту путаницу с золотой валютой. И, когда я проходил мимо окна, дѣвушка обернула вдруг ко мнѣ свое блѣдное хо-рошенькое личико и улыбнулась робкой и печальной улыбкой, которою она как будто жаловалась мнѣ на какое-то свое горе, бездонное, как это тихое небо с уже горящею за старыми тополями зеленой Вечерней Звѣздой... Я смущенно улыбнулся ей в отвѣтъ, но тотчас же принял очень достойный вид и ушел к себѣ...

Я совершенно не понимал, как мог я с моими установившимися демократическими взглядами так непростительно увлечься этими фарфоровыми нѣмецкими куколками с безмятежными глазками... Властно встали в воображеніи прелестные образы нѣмецких дѣвушек, зазвучал и звук отдаленной свирѣли, и моря играющій вал, буйной весенней игрой взыграло молодое сердце... Но нѣтъ: свою преданность дѣлу народа надо доказать жертвой!.. Вот я и приношу на алтарь демократической республики и чернокудрую Адель, и прелестную Фанни в золотѣ ея пышных кос... Сердце мое исполнилось мужественной печали и сладости жертвы и благосклонно смотрѣли со стѣны на молодого героя и Лев Толстой в блузѣ, и бородатый Кропоткин в строгих очках, и рѣпинскіе „Бурлаки“...

Да, я вырву ее, дочь народа, из когтей нищеты, я дам ей свѣтъ знанія, я розовью ея дре-



млющія силы!.. Зачѣмъ бѣжать на край свѣта?.. Это ребячество... Нѣтъ, мы останемся с ней тут, в самой цитадели врагов, и рука об руку выступим в бой с... И я, лежа на кровати, стал без всякаго страха припоминать самыя страшныя слова, какія я только знал. Я видѣлъ улицы, оцетинившіяся баррикадами, я видѣлъ красныя знамена, гордо рѣющія над толпами побѣдоноснаго народа, я слышал ревы пушек, стоны раненых и громы побѣдных пѣсен... И грудь моя подымалась могучими волнами восторга...

И, когда на утро, в то время, как Рудька, стоя на крышѣ каретнаго сарая, оглушительно свистѣлъ на своих кувыркающихся в небѣ турманов, а несознательный народ, в лицѣ широкобродогаго кучера Фомы, сочувственно слѣдил за этими праздными забавами, я, невыспавшійся, озабоченный, вышел с книжками на подѣзд. Из-за бѣленькой занавѣски навстрѣчу мнѣ восторженно вспыхнули и тотчас же испуганно потухли сѣрыя, печальныя звѣзды. С тоскующимъ сердцемъ я вышел за ворота, на которыхъ сидѣли каменные, безобразные старинныя львы, похожіе на гигантских жабъ в париках... И шесть учителей поставили мнѣ в этот день в своих аккуратно разлинованных журналахъ шесть единиц... Но что значатъ единицы на порогѣ побѣдной революціи?..

Вечером, когда под старыми душистыми то полями уже смолкло это пустое, легкомысленное *Yacobine, wo bist du?* „, я с сѣренькой „Русской Мыслью“ в руках подошел к раскрытому окну, поздоровался с милой дѣвушкой и прерывающимся голосом спросил:

— Может быть, вы хотѣли бы имѣть книгъ? Я могу достать вамъ какихъ угодно, даже запрещенных...

Она зарумянилась, пугливо оглянулась и с милой улыбкой отвѣчала:



- Спасибо... Ну только я неграмотная...
- Как?! — смутился я. — А как вас звать?..
- Оня...
- Ну, до свиданія...

Я стал озабоченно шагать по двору. Я был возмущен до глубины души... Неграмотная!.. Это в концѣ XIX вѣка-то!.. Проклятое правительство!.. Ну, погодите, голубчики, мы еще посчитаемся... И глубокая нѣжность к бѣдной, грустной дѣвушкѣ росла в моей груди, а на утро трое из учителей, этих подлых и жалких прислужников современнаго строя, поставили мнѣ снова по жирной единицѣ. Но единицы это, конечно, вздор—важно было только скорѣе спасти эту скромную милую дѣвушку...

— Может быть вы прогуляетесь завтра со мной за город?... — проговорил я, когда в сиреневом свѣтѣ догорающаго вечера уже затеплилась над старыми тополями огромная зеленая звѣзда.

— Что вы?! — пролепетала Оня.—Да развѣ это можно?.

Опытный психолог, я рѣшил не настаивать: пусть постепенно она освоится с этой мыслью, это милое, прелестное дитя народа. А—а, какіе перлы можно иногда встрѣтить там, на низах, — это вам не дурацкое *Yasobine*, не кайзерлих, кениглих, генераль и весь этот золоченый, но... вздор!

Оня, видимо, не могла повѣрить себѣ, что я полюбил ее, и глаза ея становились все печальнѣе, и она еще пугливѣе отказала мнѣ, когда я, получив за недѣлю нѣсколько абс, четыре единицы и строгій выговор от отца за балбесничество, пригласил ее снова за город.

— Нѣт, нѣт... — жалостно шептала она и в глазах ея наливались огромныя жемчужины.—Никак нельзя...

— Оня, но, право же, это недовѣріе оскор-

бительно... — прерывающимся голосом сказал я. — Я, как сознательная личность... с самой лучшей стороны...

— Нѣтъ, нѣтъ, совсѣм не то!.. — в отчаяніи закрыв лицо руками, лепетала она. — Совсѣм не то...

Рано по утру я вышел, чтобы освѣжиться послѣ безсонной ночи. У императорскаго и королевскаго генеральнаго консула всѣ еще спали—только Рудька один уже возился на чердакѣ со своими турманами. И вдруг у ворот, под старинными львами в гофренных чепчиках, я носом к носу столкнулся с Оней. Завидѣвъ меня, она испуганно прижалась спиной к чугунной калиткѣ и смотрѣла на меня так, как будто я вот сейчас больно ударю ее.

— Оня, да что с вами?! — воскликнул я. — Чего вы боитесь?..

Она молча закрыла руками свое прелестное личико... И вдруг, точно рѣшившись на что-то, она посмотрѣла на меня взглядом, полным невыразимой нѣжности и печали, медленно, раздѣльно проговорила: „прощайте!“ и — заковыляла к дому, тяжело припадая на правый бок: она была хромая, страшно, безобразно хромая!..

Я крѣпко сжал зубы, вернулся хмурый домой, бросился на кровать и — заплакал. В раскрытые окна дышал свѣжій, полный аромата тополей весенній воздух, гдѣ-то пѣли зяблики, в чистом небѣ играли облака, радостно, по-весеннему, шумѣл огромный город, а я плакал и строго, недовольно смотрѣли на меня со стѣны и Толстой в блузѣ, и бородатый Кропоткин, и „Бурлаки“... А когда я под вечер, разбитый, сумрачный, вышел пройтись, за бѣлыми занавѣсками никого уже не было...

— Но куда же вы опять?.. — жалобно бросила мнѣ золотая Фанни, выбѣгая из дома под

старые тополя.—Останьтесь с нами играть в жмурки... Ну, да?.. Ну, я прошу вас!.. Ну, милый... для меня...

И я смотрѣл в эти вѣшне-голубые глаза и — о, бездонная преступность сердца человѣческаго!.. —мнѣ вдруг показалось, что не все еще для меня потеряно... И сладко, сладко запѣла опять в моей душѣ любимая мелодія Чайковского:

Люблю ли тебя, я не знаю,  
Но кажется мнѣ, что люблю!..

\* \* \*

Ее звали Вѣрой. Это была стройная дѣвушка с огромными сѣрыми глазами и тяжелой косой из блѣднаго золота. Я боготворил ее — конечно, как никого и никогда... — но не смѣл идохнуть ей о моей любви. Она была из богатой, старозавѣтной семьи, гдѣ дѣвушек держали очень строго: иначе, как всѣ вмѣстѣ, табунком, под надзором строгой гувернантки, сестры нигдѣ не показывались. Она молча, стыдливо и радостно принимала мое поклоненіе — изумительно, как это угадывается!.. — и вся наша жизнь была мучительно—сладким напряженіем...

Но вот раз — был бархатный лѣтній вечер, во ржах били перепела и звѣзды рассказывали темной, теплой, душистой землѣ золотыя сказки... —мы всѣ шли в сумракѣ молодым лѣском...

— А ну, кто кого перегонит? — обратилась вдруг ко мнѣ Вѣра.

— Давайте...

И, шумя юбками, свѣтлым душистым вихрем она понеслась в темноту...

И только, когда всѣ были далеко сзади, когда нас никто уже не видѣл, она обернулась ко



мнѣ, смущенному и очарованному. Мы стояли в молодой, душистой рощицѣ и молчали — только сердца наши говорили... И грезил о чем-то пахучій лѣс, и били во ржах перепела, и звѣзды мерцали в вышинѣ... И вдруг, с замирающим от священнаго ужаса сердцем, — я точно в бездну огня полетѣл... — я взял ея маленькую, теплую ручку и—робко поцѣловал ея. Она крѣпко сжала мою руку в отвѣтъ и двѣ огромных, бездонных, безцѣнных звѣзды тепло заглянули мнѣ в самую душу...

А тѣ, лишніе, шумя и смѣясь, подходили... Безмолвные и взволнованные, мы вышли к ним из звѣзднаго сумрака и сразу нѣсколько пар подозрительно-восторженных молодых глаз обратились на смѣлую сестру и ея смущеннаго, подавленнаго счастьем избранника...

Это было все. Болѣе нам с Вѣрой не удалось быть наединѣ и одной минуты. Но, чтобы хоть как-нибудь сказать ей о моей бездонной любви, я вырѣзывал огромныя В и на скамейках парка, и на заборах, и на атласной корѣ молодых березок. Это было безжалостно, но важнѣе всего в мірѣ была моя любовь и чтобы Вѣра знала о ней, чтобы все говорило ей об этом, чтобы любовь моя окутывала бы ея на всѣх путях, как нѣжное облако, как непроницаемый панцырь. Только одно это было важно и священо. Она видѣла мои В и огромные, сѣрые глаза ея были полны нѣжности и призыва...

И появились желтые листья в примолкшем лѣсу, и протянулись серебряныя нити в опустѣвших полях, и она — уѣхала. С обливающимся кровью сердцем уныло бродил я среди берез, на которых всюду красовались мои В, и березы тихо плакали над моей головой золотыми слезами осени, и журавли в небѣ трубили надо мной погре-

бальные марши... Конеч!..

Прошли года. В моих волосах, точно паутина в опустѣвших полях, уже появились серебряные нити и часто тоскуют в душѣ о пролетѣвшем и жарком лѣтѣ незримые журавли... И судьба снова закинула меня в тѣ мѣста, гдѣ я нѣкогда любил Вѣру и так страдал о ней...

Боже, как разрослись тѣ березы, которыя так нѣжно баюкали нѣкогда мою любовь, которыя так плакали тогда над моим горем!.. Боже, какія онѣ стали высокія, толстыя, важныя!.. Былое ожило и я отыскал то мѣсто, гдѣ я тогда поцѣловал маленькую, теплую ручку... Но гдѣ же мои В?.. Заборы тѣ сгнили и завалились, и на новых скамейках уже не мои буквы, не мои, новыя!.. Я бросился к старым березам — нѣт, и на их уже огрубѣвших стволах я не нашел и слѣда моих В: все заплыло, затянулось, все исчезло без слѣда... Печально шумѣл вокруг меня лѣс в золотой тишинѣ вечера, упоительно пахло росистой травой, били перепела в хлѣбах, что-то ласковое шептали звѣзды теплой землѣ и, весело смѣясь, прошла куда-то стороной молодежь...

И горькая, как полынь, поднялась в моей душѣ тоска...

\* \* \*

Едва появившись среди нас, в нашем тихом дачном поселкѣ, Галатея сразу покорила под ножки свои всѣх этих гимназистиков, реалистиков, студентиков и юнкеров. Каждый праздник мы, маленькіе Пигмальоны, носились под звуки оркестра шумным роем вокруг этой шестнадцатилѣтней, холодной, как мрамор, красавицы, но, увы, никто из нас не мог похвалиться, что прекрасные глаза ея остановились на нем болѣе, чѣм слѣ-



дует, ласково, — всѣм одна безмятежная улыбка, всѣм одинаково безмятежный взгляд... Болѣе всѣх пострадал от нея юнкер Вася, краснощекій, кудрявый молодец, смотрѣвшій на жизнь горячими, восторженными глазами, и, понятно, я. И потому наши отношенія с Васей были нѣсколько натянуты...

Помню тихій, ласковый лѣтній вечер. Гремит оркестр самогитов. В теплом сумракѣ колышутся пестрыя созвѣздія цвѣтных фонариков. Шипя уносятся в небо нарядныя ракеты и оглушительные бураки. Туманится голова от этого праздничнаго шума, блеска, сіянія женских глаз, от вина молодости, но она, прекрасная Галатее, как всегда, равна и спокойна и — сердце мое разрывается на части: не может быть, не может быть, чтобы она не видѣла моей безмѣрной любви!.. И я косился в сторону Васи — он отплясывал, что полагается. Я косился в сторону ея строгой, всегда во всем черном, в степенной наколкѣ на головѣ, матери — она снисходительно смотрѣла на тѣ выверты, которые с полным усердіем выдѣлывал я...

Безконечный котильон уносил нас с Галатеей под грохот оркестра все дальше и дальше, в душистый сумрак лѣтней ночи, то и дѣло вздрагивающій от далеких зарниц. „Теперь или никогда“!... — подумал я и с отчаяніем утопающаго тихонько пожал ея теплую ручку.

— Пардон... — ласково сказала она и, освободив руку, стала на ходу поправлять какой-то там свой бантик.

Попрежнему ласково и безмятежно смотрѣли прекрасные глаза, также безоблачна была ея улыбка, нисколько не дрогнула ея маленькая ручка. И потому, как только кончился котильон, я, чтобы спрятать от себя и других свое отчаяніе и



стыд, понёсся в темные кусты орѣшника и дубняка.

— Черт знает!.. Не понимаю, ничего не понимаю... — услышал я вдруг в темнотѣ полное отчаянія восклицаніе Васи. — Это не женщина, а камень какой-то...

— Ну? — сумрачно пробасил Степа, сухой и высокій гимназист, презиравшій женщин, ибо нос его был длинен, как у Гоголя, а на лицѣ цвѣла всегда цѣлая розсыпь бутонов.

— Ну, вот опять сейчас... — горячо заговорил Вася и яркой возбужденной звѣздочкой загорѣлась во тьмѣ его папироска. — Танцует она котильон с этим чертом Н. — Вася назвал мою фамилію, — в углу эта черная мамаша ея сидит... Ну, выждал я минутку, встрѣтился с ней, думаю, была-не-была и пожал ей руку...

Папироса засіяла еще ярче в сумракѣ. Над темными полями трепетали тихія зарницы. Самогиты, отдыхая, дули пиво и смѣялись.

— Ну? — строго сказал Степа.

— „Пардон“, говорит, и стала поправлять эти там свои какіе-то бантики... — зло продолжал Вася. — И хоть бы что тебѣ!.. Ч-черт знает что...

И папироска, разсыпая искры, полетѣла в траву...

— Не понимаю, как можно обращать вниманіе на каких-то там женщин... — послѣ нѣкотораго молчанія значительно пробасил Степа. — Критически мыслящая личность не должна давать себѣ...

Я не слушал. Я уже знал, что, как только Степа начинает критически мыслить, то конца не будет... Бархатные звуки вальса поплыли в душистой темнотѣ и я, странно удовлетворенный рассказом юнкера Васи — „нѣтъ, но каков же все-таки сукин сын, а?!“ — я устремился на сіяющую

огнями „танцевалку“ и с гордым, пренебрежительным видом, пройдя мимо сияющей безмятежной красой своей Галатеи, расшаркался перед тоненькой Локой... И под томные звуки вальса мы унеслись с ней в волшебную страну... Но и из волшебной страны я все же видѣл, как критически-мыслящій Степа сумрачно подошел к Галатеѣ, склонился пред ней и они закружились. Вальсировал Степа ужасающе, несмотря на то, что его тонная мамаша требовала от него непременно свѣтских манер и ловкости. И вдруг, вижу, не сдѣлали они и тура, как Галатея остановилась.

— Пардон... — ласково сказала она и стала поправлять какой-то там свой бантик.

На длинноносом лицѣ Степы было глубокое уныніе. А мы с Локой унеслись дальше..

И так прошло лѣто, и еще лѣто, и еще... Одни за другими мы в погонѣ за блуждающими огоньками глаз сѣрых, черных, карих, голубых разлетѣлись от холодной Галатеи во всѣ стороны... Сперва все шло как слѣдует: 1890... 1891... 1892... И вдруг сразу бац: 1915!... И вот — это было уже во время войны — зашел я к Мюр и Мерилизу теплых носков себѣ купить: была уже осень и становилось холодно. И вдруг вижу, к под'ѣзду подкатился величественный автомобиль и из него вышла сухощепая, рыжая англичанка, трое упитанных ребят с голыми колѣнками и — Галатея... Она стала очень величественна и на мраморном лицѣ ея сіяла безмятежная, как тогда, улыбка. Я до того от неожиданности растерялся, что уронил свои носки на мокрый тротуар и, еще болѣе смутившись, стремительно бросился поднимать их. Галатея — она не узнала меня — подобрала свои шумящія юбки, чтобы как не задѣть меня с моими носками, и с сияющей улыбкой прослѣдовала в огромный магазин...



— Не знаете, кто эта барыня? — спросил я величественного швейцара.

Он пренебрежительно оглядѣл меня.

— Как не знать?.. — процѣдил он. — Всей Москвѣ извѣстны... Г-жа Н.

А-а, так вот оно что!.. Г-на Н., эдакого розоваго, пушистаго старичка в строгих очках, я не раз встрѣчал в дѣловых кругах Москвы: это был один из крупных козырей столицы... Так вот, значит, кто побѣдил нас с юнкером Васей!.. Ну, что же теперь будешь дѣлать?.. Всякому свое, как говорится... И, придерживая концами пальцев свои намокшіе носки, я смиренно побрел домой...

\* \* \*

Под утро ударил первый утренник. Когда я послѣ завтрака вышел подышать в залитый золотом осени сад, солнечныя поляны были густо залиты сѣдыми розсыпями жемчужной росы, а в тѣни старых деревьев еще курчавился бѣлый иней. Дышалось свѣжим пахучим воздухом так, что, если бы в жизни ничего другого не было, кромѣ этого наслажденія дышать, и тогда она была бы бездонной свѣтлой радостью... Я подошел к моему любимому кусту чайных роз. Он был от росы весь мокрый и послѣдній бутон, сѣжившись, печально поник на мягком, точно сваренном стеблѣ к землѣ...

И сразу — и так ярко, ярко!... — вспомнилась мнѣ Аня...

Она была из богатой старообрядческой семьи. Зимой они жили в своем чудесном особнякѣ на М. Никитской, а лѣтом в том подмосковном дачном поселкѣ, гдѣ жила и моя семья. Но в то время, как вся молодежь поселка жила дружной, веселой и очень шумной жизнью, семья Ани



строго держалась от всего в сторонѣ: нельзя было „мірщиться“... И бѣдная Аня, очаровательная, пышная блондинка с тяжелыми косами — тогда дѣвушки совсѣм не стремились походить непременно на пожарнаго... — лишь издали с завистью поглядывала на наши молодые безшабашныя вакханаліи среди солнечных рощ, гдѣ было столько ландышей сперва и столько бѣлых грибов потом...

Мужская молодежь наша, кончая высшія учебныя заведенія, женилась, наши красавицы одна за другой выходили замуж, а Аня все сидѣла у себя на террасѣ, среди цвѣтов, за какой-нибудь книжкой, а неподалеку от нея в креслѣ вязала что-нибудь ея тетка, ревностная старовѣрка, и сквозь строгіе очки зорко оберегала свою красавицу-племянницу от всякаго злого обстоянія, т. е., главным образом, от нас, молодых вертопрахов. В смыслѣ зажиточности мы, большею частью, были Анѣ вполнѣ „в версту“, но между нами и ею лежала непроходимая, по мнѣнію тетки, пропасть: вѣра... которой у нас, большею частью, уже не было.

К счастью, тетка была очень богомольна и обыкновенно по субботам на парѣ огромных черных рысаков с яростными глазами, — тогда автомобилей не было, слава Богу, и в поминѣ... — уѣзжала в Москву, в свою моленную, ко всенощной, а возвращалась оттуда только в воскресенье послѣ обѣдни. Конечно, по совѣсти нужно было бы брать с собой помолиться и Аню, но старуха была, слава Богу, очень скупа и боялась не только жуликов, но и своей прислуги: Аня оставалась дома, чтобы смотрѣть, как какой-нибудь околоточный, за „порядком“. Этим и воспользовался прелестник дьявол, чтобы посѣять чрез забор —

он был не высок к тому же, по грудь, — злая сѣмена грѣха. Аня выходила к вечерку в сад поливать свои цвѣты, а я, разумѣется, нечаянно, оказывался по ту сторону забора. Конечно, о том, чтобы остановиться и поболтать, и думать было нечего, но пройти эдак озабоченно, по важному дѣлу мимо, можно было, конечно, и раз, и два, и три, при чем, понятно, спѣшность дѣла и моя озабоченность возрастали с каждым разом. Проходя в первый раз, я, понятно, почтительно раскланивался с Аней, а затѣм, в слѣдующіе разы, я интересовался главным образом вечерними облаками, погодой, а Аня старательно поливала свою резеду, петунію, георгины, флоксы... И шел от ея цвѣтов чрез забор упоительный запах и мнѣ казалось: что это пахнет счастьем, сладким, молодым, бездумным счастьем...

А потом вставала из-за стараго сосноваго парка огромная золотистая луна, по дорожкам лежились причудливые узоры свѣто-тѣни и земля затихала. Но не затихало сердце... И потому я, проходя в теплом сумракѣ мимо завѣтнаго забора в четвертый раз, — уже без озабоченности: было темно, не видно..., — я видѣл в окнах теплящіяся по всѣм комнатам лампадки, а вверху, у бокового окна, неподвижную, свѣтлую, милую тѣнь... Вокруг радостно и свѣжо благоухала ея резеда... Тогда я чрезвычайно увлекался оперой и сам дѣлал попытки пѣть, хотя время для этих опытов было выбрано очень неудачно: бассо профундо гимназических лѣт, ломаясь, переходил в неуверенный пока что, срывающійся крик молодого пѣтуха. Но это было неважно: я был сторонником той русской школы, которая утверждает, что в пѣніи дороже всего „душа“. А души у меня было хоть отбавляй... И вот, встав в тѣнь, за куст калины я начинал чувствительно выводить:



Ах, скажите вы ей, цвѣты мои...

Меня очень смущало отсутствіе аккомпанимента, — голос звучал одиноко и бѣдно — но зато души было океан и свѣтлая тѣнь на окнѣ не шелохнулась, слушала... И колдовала засеребрившаяся уже луна своим извѣчным, никогда не изнашивающимся колдовством... И вот раз, когда я кончил очередную серенаду, — это было „Гаснут дальней Альпухары золотистые края“... — вдруг, точно из глубины луннаго неба прозвучал ангельскій голосок:

— Это, кажется, вы, И. Ф.?

Я поперхнулся от священнаго ужаса:

— Гм... Я...

— А мнѣ как раз нужно спросить вас об одной вещи... Я сейчас спущусь...

Милое видѣніе в окнѣ исчезло, в серебристом душистом сумракѣ послышалось волнующее шуршаніе юбок и по ту сторону забора выросла среди цвѣтов Аня.

— Добрый вечер!..—тепло и стыдливо дрогнул ея контральто.

— Добрый вечер... — пѣтушиным голосом отвѣчал я.

— Я хотѣла спросить вас... да: чья это музыка „Гаснут дальней Альпухары“...

„О милая, милая, милая!...“ — радостно и нѣжно запѣла душа.

— Чайковского... — сказал я. — Вам нравится эта вещь? Да, там, в Испаніи, любить умѣли... — значительно добавил я.

Аня тихонько всполошилась.

— Да, музыка очень хороша... — торопливо перебила она меня. — Но...

— Анна Кузминична, вы в саду?... — раздал-



ся с террасы скрипучій голос старой горничной, глаза и наушницы тетки.

— Да, я здѣсь... — испуганно отвѣчала Аня из-за калины. — Ну, прощайте скорѣе... до свиданія...

Мысль, что еще секунда и жар-птица счастья улетит, быть может, навсегда, сразу сорвала всѣ сдерживающія цѣпи с сердца.

— Аня... милая... Ты знаешь, как я люблю тебя... Один поцѣлуй...

— Ах, что вы?... Это совсѣм невозможно... — крѣпко сжимая мои руки и склоняясь своим милым, бѣлым от луны личиком ко мнѣ все ближе и ближе. — Это... никак невозможно... Ах!

Ея теплыя губки нѣжно затрепетали под моим поцѣлуем и, испуганно гремя юбками, Аня убѣжала в свѣжо пахнуцій росой и цвѣтами сад.

С этого дня тетка стала брать Аню на всѣ свои богослуженія, самоотверженно предоставляя свою богатую дачу на разграбленіе жуликам, а когда я попробовал — было спѣть за кустом калины опять об Альпухарѣ, то не успѣл я дойти до красиваго „От Севильи до Гренады в тихом сумракѣ ночей“..., как ко мнѣ вышла старая вѣдьма горничная и проскрипѣла:

— У Анѣисы Егоровны очень болит голова и онѣ просят вас не кричать так... Вы можете пройти в другое мѣсто...

— Вѣдьма!... — рванул я сквозь зубы. — Дьявол!..

На этом и оборвалось у нас с Аней все: я был еретик, никоніанец, щепоткин, табашное рыло...

...Прошло много лѣт. Раз я шел Тверским бульваром и вдруг у самаго памятника Пушкина я увидѣл изящно одѣтую даму. И чуть не ахнул: то была моя Аня, но, увы, увядшая, конченая!..

Проклятая тетка, будь она у самого сатаны на рогах, не нашла для Ани подходящей партіи и Аня так и завяла старой дѣвой. И вон она стояла теперь около памятника Пушкина, пѣвца любви и грѣшных, наслажденій, и задумчиво смотрѣла к Страстному монастырю... Я не подошел к ней — было больно... — и чуть не на цыпочках как из комнаты, в которой лежит дорогой покойник, ушел и скрылся в толпѣ...

\* \* \*

За ночь выпал снѣг настолько обильный, что крестьяне цѣлый день отгребались от него, открывая себѣ проход к колодцам, к дровам, к амбарам. Я взял ружье и лыжи и пошел в лѣс. В полях ни движенія, ни звука, ни слѣда. Звѣрь боится показать свой слѣд по этому чистому покрову и готов голодать и день, и два, и три, только бы не обнаружить себя. Это то, что на охотничьем языкѣ называется мертвой порошей...

Вот и лѣс, причудливые бѣлые чертоги из заоблачных башен елей, величественных куполов столѣтних сосен, прелестнаго бѣлаго лабиринта молодого березняка. Пни в высоких горностаевых шапках, как надменные рынды, сторожат это тихое, бѣлое царство... И ярко алѣют под снѣгом гроздья рябины на опушкѣ... Чуть поскрипывая лыжами, я иду из одной огромной бѣлой палаты в другую, сам весь бѣлый от запушившаго меня с головы до ног снѣга...

Я устал и, сбив с бѣлаго пня его надменную шапку рынды, сѣл и слушал тишину и свое сердце. И смотрю: рядом со мной, в голубой тѣни огромнаго суоя, в бѣлой серебряной ризѣ стоит какая-то сухая былинка. Это был засохшій цвѣток дикой петрушки, бѣлые кружевные зонтики кото-



рой я так люблю. Их много тут с весны, по этому живописному оврагу...

И вдруг проснулось былое. Помню, раз, лѣтним утром, с едва пробивающимся пушком на щеках, я лѣниво возвращался как раз этими мѣстами к себѣ в деревню. И вдруг в чашѣ молодого, пахучаго на солнцѣ сосняка я слышу дѣвичьи голоса и смѣх. Я смутился — я боялся тогда женщины — и хотѣл незамѣтно, стороной уйти. Но меня уже замѣтили.

— Все один, все один!... — и ласково, и насмѣшливо бросила мнѣ навстрѣчу первая красавица на всю нашу деревню, Аннушка, и большіе агатовыя звѣзды ея глаз смѣялись мнѣ, и грѣли, и звали. — Иди-ка сюда лучше, я тебя земляницей угощу...

Я принадлежал тогда весь, и тѣлом, и душой, голубоокой чаровницѣ Вѣрѣ. Я мог любить обѣих, но я думал, что этого никак нельзя. И потому я смутился, пробормотал что-то нескладное и, весь в жару от смущенья, торопливо зашагал прочь. А за мной, сзади, в звонкой тишинѣ залидаго солнцем лѣса, среди бѣло-зеленых зарослей дикой петрушки звенѣли дѣвичьи голоса и смѣх, и сердце мое сжималось: я чувствовал, что я ухожу от большого счастья...

...Загрустив об этих сгорѣвших днях, я вышел из бѣлых, холодных чертогов лѣса и пошел к дому. И вдруг у бань я слышу женскіе голоса и мягкіе удары мялки: то бабы, пользуясь хорошей погодой, трепали лен. Мы обмѣнялись пріѣтствіями.

— Что, али не узнал свою старую пріятельницу-то?...—вдруг услышал я голос.

Я остановился, смотрю на этот улыбающійся мнѣ рот с выбитыми передними зубами, на эти ласковые агатовые глаза, на эту ватную неуклю-



чую кофту, на высоко подоткнутую юбку, открывающую грубые башмаки, и чувствую, как меня берет оторопь...

Не может быть!...

Но, увы: это была колдунья Аннушка, которая когда-то звала меня к себѣ в душистую чашу сосноваго лѣска... Вскорѣ потом ее выдали в далекую деревню, у нея было много дѣтей, но, слава Богу — Аннушка так и сказала, — почти всѣх их прибрал Господь. Есть у нея и муж, пьяница и безобразник, который как-то и выбил ей передніе зубы: во, гляди...

Ах, зачѣм же я убѣждал тогда от нея, смущенный, зачѣм не пошел я на ея зов в молодой лѣсок, зачѣм не зацѣловал ее жаркими поцѣлуями?!... Вѣдь я просто-на-просто обокрал и ее, и себя...

Тише, тише, глупое сердце!... Вокруг нас уже бѣлая зима и только сухая былинка дикой петрушки в голубой тѣни сувоя напоминает сердцу о быстро пролетѣвшем лѣтѣ, когда дѣвушки идут в сосновые перелѣски за душистой земляникой и любовью, когда по живописным оврагам цвѣтет тут кружевными воздушными зонтиками дикая петрушка... Тише, сердце: для нас весны уже не будет!... Жизнь засохла, как эта былинка, и только воспоминанія горят в бѣлом мертвом снѣ, как эти запущенныя снѣгом гроздья рябины...

\* \* \*

Вы знаете, когда и как цвѣтут сосны?... Нѣтъ?... А я знаю...

И вот почему.

В день „матери Елены, чаря Каськянкина“, как говорят мои земляки, т. е. 21 Мая, наш старый суздальскій край „подымает Матушку Бого-

любску“. Эта огромная, древняя, совсѣм уже черная икона в серебряном окладѣ, писанная, конечно, самим евангелистом Лукой, стоит в монастырѣ при древней вотчинѣ знаменитаго кн. Андрея Боголюбскаго, верстах в 12 от Владиміра, на берегу свѣтлой Клязьмы. Утром, послѣ торжественной обѣдни монахи с великим пѣніем, под перезвон колоколов всѣх окрестных сел, во главѣ медлительной, необозримой, пестрой рѣки богомольцев несут „Матушку“ гостить в старый Владимір, гдѣ Она и ходит по приходам и монахи собирают при этом мзду великую: „жертвуйте, православные, на святую обитель Матушки Боголюбской!...“ причитают они и громыхают мѣдяками в тяжелых жестяных кружках. — „Жертвуйте, не жалѣйте, православные“!...

Мы с моей милой — ее звали Вѣрой, Вѣрой II, — рѣшили пойти на богомолье: она говорила — может быть, не совсѣм искренно, — что ей непременно надо помолиться, а я потому, что мнѣ хотѣлось побыть с ней наединѣ подольше. Вѣра была моей первой настоящей любовью. Она была дочерью земли, дичком и едва умѣла читать и писать. Стройная, тонкая, с милыми голубыми глазами и русой косой, с мягкой, слегка застѣнчивой улыбкой, маленькая славяночка, выросшая в глубинѣ суздальских лѣсов, отдалась мнѣ легко и просто и блаженны были наши дни и ночи с ней. Для богомолья она принарядилась в новенькое, пахнущее ситцем, платице, свѣтлое, в мелких пестрых букетиках. Чтобы зря не трепать ботинок, она всю дорогу несла их по суздальскому обычаю, в руках и споро перебирали ея загорѣлыя, стройныя ножки по пустынным тропинкам по жаркой, пѣгой от солнечных пятен землѣ...

По лѣсам и перелѣскам уже цвѣли-благоухали ландыши, струился сладкій аромат рѣзных



кадильниц любви, вѣтер доносил с заливных лугов медвяный запах трав, а над всѣм этим, в солнечном зноѣ, в солнечной лѣни, стояли-дремали рати сосен и каждая вѣточка их была украшена тоненькой золотисто-блѣдно-зеленой свѣчечкой. Когда, проходя мимо, тронешь плечом вѣтки, вокруг свѣчечек тотчас же подымается облачко цвѣточной пыли, облачко любви, и снова дерево блаженно засыпает своим солнечным, ароматным, любовным сном... А вокруг, под птичьи гимны, незримо бродит с колдовской улыбкой пьяный жизнью Ярило, древлїй бог любви, и нюхает, и смотрит, и слушает пѣснь незримаго ключа — ой, люли-люли, лель, лель!... — и вся жизнь не только ему, но и всѣм кажется блаженнѣйшим сном, у котораго нѣт начала и которому не будет конца никогда, никогда... Что мудренаго, что и моя голова кружилась весенним хмѣлем и что поцѣлуи мои становились горячѣе?... Но милая пугливо отстранялась: „что ты?! Окстись!... А Матушка Боголюбимая?...” Я рѣшительно не понимал, при чем тут Боголюбимая, но покорялся своей ненаглядной... А вокруг рати сосен в тоненьких свѣчечках — точно брачный пир какой празднует радостная земля...

Я никогда не любил так называемых народных праздников. Они всегда вызывали во мнѣ смутное, очень непрїятное чувство бездонной скуки, брезгливости и страха перед чудовищем-толпой, страха, который я пронес всею жизнью. Если есть на землѣ что страшное, то это человек, а в особенности во множественном числѣ: толпа. А тут, вокруг стѣн стараго монастыря, среди зеленого приклязьменскаго приволья, она была огромна, невѣроятна, чудовишна, вся в пестрых таинственных водоворотах, вся в смутных говорах, вся в неуловимых движенїях туда и сюда, готовая каждую минуту рѣшительно на все — кромѣ хоро-



шаго. Густо пахло ситцем, дегтем, сапогами, потом, конским навозом и затоптанными на смерть миллионами цветов — само того не сознавая, стадо человеческое вносит с собой повсюду разрушение, смерть и нестерпимое безобразие. Было безглаголиво и жутко...

И вот в лазури загудѣли из всѣх сил колокола, послышалось торжествующее пѣніе монахов и толпа шарахнулась на колѣни: Матушка... Заступница... Черный, жуткій лик с большими глазами, в серебряном, мертвенном окладѣ, тяжело поплыл этим пестрым людским морем и сейчас же к нему бѣлыми ракетами полетѣли бросаемые бабами холсты. Пышными павами плыли стороной, закрывшись пестрыми зонтиками, купеческія дочки: не пошлет ли Владычица женишка хорошаго? Гнусавили в жаркой пыли надрывными голосами нищіе. Полицейскіе в бѣлых нитяных перчатках дѣлали вид, что только на них и держится вселенная. Голова гудѣла от неумянаго колокольнаго звона... Моя милая, усиленно крестясь и кланясь, была, повидимому, больше всего занята критическим обзором городских модниц и тѣми усовершенствованіями, которыя она могла бы внести в свои скромные наряды... А пышныя красавицы, кровь с молоком, — их папаша в рядах сапожным товаром торговали, — безглаголиво подбирали свои нарядныя платьица, чтобы как грѣхом не задѣть ими воющих в пыли вонючих слѣпых...

Задыхаясь в душных тучах пыли, изнемогая от жары, а в особенности от толпы и губя смѣющіеся по обочинам дороги цветы, мы медленно шли к еще далекому Владиміру. Конечно, будь на мѣстѣ Вѣры другая, мы ушли бы с ней в брачно-нарядные сосновые перелѣски, туда, гдѣ благоухают рѣзныя кадильницы несравненной любви, но Вѣра была истинной дочерью суздаль-

ской земли и боялась гнѣва Владычицы, как огня... И мы задыхались в пыли, нетерпѣливо ожидая, когда все это кончится...

И это — хвала свѣтлому Ярилѣ!.. — наконец, кончилось... Передохнув от трудов праведных во Владиміръ, мы ранним, росным, благоуханным утром вышли из города и лѣсныя солнечныя пустыни поглотили нас...

— Вѣра... милая... радость моя...

Вѣра остановилась среди зеленых чертогов сосен, убравшихся для брачнаго пира. Тысячи и тысячи свѣтло-зеленых свѣчечек теплились любовью и радостью бездонной. Жаркой улыбкой улыбался из-под кудрявых облаков свѣтлый Ярила именинницѣ Землѣ. Любки пьянили... И Вѣра, с застланными страстью глазами, положила мнѣ на плечи свои загорѣлыя ручки, прижалась вся ко мнѣ жарко. Жизнь вдруг стала огненно-радостной молніей, жизнь вся наполнилась красным ликующим звоном, жизнь была кадилом благоуханным и так налита счастьем, что, казалось, сердце не выдержит тяготы блаженства... И гдѣ-то рядом, в солнечной травѣ, нарядно журчал-звенѣл невидимый ключ: ой, люли-люли, лель, лель!...

.....Но пришло время и милая лѣсная сказка эта кончилась, как все кончается на землѣ... Я помню тот суровый осенній день, когда поѣзд понес меня в угрюмыя, холодныя дали безрадостной, как тогда казалось, жизни... Из окна вагона, мучаясь мукой смертной, я все искал тоскующими глазами в сумрачных далях родную деревню, старый дѣдовскій дом и звал назад милую дѣвушку и сгорѣвшіе дни... Потом я узнал, что, оторвавшись от меня, с душой в крови, она забралась на окно и долго, долго ждала прохода вдали моего поѣзда... И вот за Клязьмой, среди сини лѣсов, показался едва видный дымок. Осенній



вѣтер разносил его по хмурому лѣсу, тому самому, гдѣ, казалось, так недавно мы пили с ней из золотой чаши Ярилы волшебный напиток весны... И заплаканные глаза дѣвушки жадно берегли этот дымок, послѣднюю память о жарких днях, о звѣздных ночах, когда, всѣ в нарядных свѣчечках, цвѣтут у нас сосны...

И дымок разсѣялся в угрюмых далях, как все на землѣ в концѣ концов разсѣивается без слѣда...



Принято думать, что пословицы являются выраженіем народной „мудрости“, но глупости в них всегда неизмѣримо больше. „Всяк своего счастья кузнец“ звучит, напримѣр, очень гордо, но надо быть очень поверхностным человѣком, чтобы вѣрить в это. Человѣком владѣют тысячелѣтнія силы, которым он не знает часто и имени даже. В сравненіи с их размахом его смѣшная „свобода воли“ кажется только писком комара в ревѣ ураганов. В извѣстном возрастѣ молодым человѣком овладѣвает, напримѣр, то смутное желаніе своего гнѣзда, которому во вселенной покорно все живое. Тогда он начинает безсознательно искать себѣ подругу, даже если его сердце и молчит еще...

Как раз в такіе смутные дни встрѣтился я с Маргаритой Д. — гдѣ и как, не помню. Помню только зимнее, праздничное утро, когда по всей Москвѣ чудесно пахнет пирогами, ликование колоколов Скорбященскаго монастыря и в пестрой рѣкѣ богомольцев из церкви выходит закутанная в мѣха, нарядная Маргарита, а у меня сердце начинает что-то постукивать. Маргарита невысока ростом, но стройна, дивные волосы, темные, с золотыми от-



свѣтами, живой румянец во всю щеку и эти красивые, немножко близорукіе глаза с поволокой. И вся она исполнена какой-то тихой, но глубокой нѣги... Мы обмѣниваемся издали поклонами и она исчезает за Бутырской заставой, гдѣ у ея отца был химическій завод. Потом я познакомился как-то и с ея отцом на охотѣ. Семен Николаевич был больше похож не на промышленника, а на какого-то народного учителя. Это был тихенькій, сѣренькій человекъ с гладко зачесанными назад волосами и робкими глазками. Охотник он был горевой: оружіе у него было без всякой охотничьей изюминки, а собаки невоспитанныя шалавы, на которых не дѣйствовала никакая плеть. Но за бутылочкой портвейна мы любили поболтать с ним о дѣлах охотничьих. Маргарита, кокетливо кутаясь в бѣлый вязаный платок и щуря свои красивые, близорукіе глаза, с улыбкой слушала нас. Слухи о моих увлеченіях весьма тревожили благочестивых москвитян, но даже и при наличіи этих слухов я был для Маргариты хорошей „партіей“ и Семен Николаевич покровительствовал нашему сближенію в то время, как мать Маргариты и ея рыженькая, тихая, как мышка, сестра почему-то всегда прятались от всѣх в тихом мезонинѣ...

У нашего небольшого охотничьяго кружка был за Бутырской заставой свой стэнд для стрѣльбы по голубям. Маргарита была как бы королевой стэнда и я, тогда хорошій стрѣлок, блистал перед ней своим молодечеством. Особенно помню одну садку. Стрѣльба шла уже дублетами, но егерь, зазѣвавшись, нечаянно подал мнѣ вмѣсто пары голубей цѣлых трех. Я чисто положил пару. Третій от выстрѣлов испуганно закружился над стэндом. В одно мгновеніе я вложил в правый ствол новый патрон, стукнул выстрѣл и голубь чисто и красиво упал в чертѣ. Публика разрази-

лась невольными рукоплесканіями, а Маргарита осіяла своего витязя прелестной улыбкой...

Сближеніе между нами тихонько нарастало, а рядом незримо нарастали в груди ея тихаго отца огромныя рѣшенія, о которых он никогда никому не дохнул и слова. Я был гдѣ-то в от'ѣздѣ, когда Семен Николаевич, простившись со своими, поѣхал помолиться на Соловки. И вдруг оттуда страшная вѣсть: на берегу Бѣлаго моря нашли его одежду, а сам он исчез без слѣда. Всѣ поняли так, что он захотѣлъ выкупаться и утонул. Тѣла его так и не нашли...

В мою жизнь ворвалась вдруг яркой и жаркой жар-птицей Маша. Мы восторженно бросились с ней в солнечные тогда просторы жизни, а когда потом, нѣсколько лѣтъ спустя, я вернулся в бутырскіе края, я узнал потрясающую новость: один из москвичей поѣхал в Соловки помолиться и вдруг увидал там среди братіи Семена Николаевича в черной рясѣ и клобукѣ! Семен Николаевич, узнавъ пріятеля, скрылся в келіях и тому так и не удалось повидать его...

Значит, в то время, как темныя, извѣчныя силы инстинкта сводили тогда его Маргариту со мной для основанія новаго гнѣзда, для жизни, другія незримо разрушами гнѣздо этого тихаго, похожаго на народнаго учителя человѣчка и заставляли его, бросив жену и дѣтей, искать какого-то „спасенія“ на островѣ суроваго Бѣлаго моря... Я не знаю, что случилось с Маргаритой. Всѣ мы, на минуту как бы связанные Роком в один узел, разбились и, воткав в пышный ковер вѣчно играющей жизни нѣсколько пестрых нитей, разными путями пришли в концѣ концов к—могилѣ...

Но до сих пор помню я веселое утро, ядреный мороз, блещущій снѣг и четкій, красивый, веселящій триплет мой по голубям, и взрыв ру-



коплесканій, и лѣнивую улыбку Маргариты, гордой удалъством своего избранника...

\* \* \*

Есть любовныя сказки, подобныя пламенной Жар-птицѣ, которая, вдруг осіав всю нашу жизнь, превращает ее в какое-то заколдованное царство, гдѣ, что ни шаг, то новая радостная, волшебная неожиданность, и есть сказки тихія, похожія на туманный денек, когда все сладко дремлет, овѣянное тихими снами... Бывают иногда даже сказки, подобныя мокрой воронѣ, которая скучливо нахохлилась на изгороди под дождем и один вид которой возбуждает зѣвоту...

Не успѣла еще отгрѣмѣть жгучая, вся в огневых изломах гроза, поднятая в моей жизни милой дикаркой Вѣрой в тѣ пьяные дни, когда цвѣтут наши суздальскіе боры, как вдруг на моем жизненном пути встала тонкая и стройная колдунья Маша. Ея огромные, сѣрые глаза пьянили как крѣпкое вино, а от плѣнительной родинки, усѣвшейся на самой серединѣ подбородка, можно было с ума сойти. Это была огневая Кармен, выросшая в сонном царствѣ Замоскворѣчья и рвавшаяся из своего затвора на вольную волюшку широкаго солнечнаго міра...

Сразу началась волшебная и горячая игра. Я не смѣлъ вѣрить, что такая красавица снизойдет до меня, и сходил с ума... И вдруг суровый приказ моего старика: немедленно выѣхать в Козьмодемьянск, на Волгу, на знаменитую лѣсную ярмарку, гдѣ у нас были большія дѣла. Мрачный, я поѣхал точно в Сибирь, на каторжныя работы без срока: в самом дѣлѣ, дѣло должно было задержать меня там не меньше трех недѣль... Из нашего зеленаго Подмосковья тотчас же полетѣли



мнѣ вслѣд письма — зовущія, дразнящія, отравляющія... Я сомнѣваюсь, чтобы мое пребываніе на Волгѣ было на этот раз дѣлу очень полезно. Я воспользовался каким-то вздорным предлогом и, не дотянув даже и трех недѣль, полетѣлъ домой и — наткнулся на затвор: старики Маши замѣтили, вѣроятно, ея волненія и — заперли ее еще крѣпче. Но, Боже мой, развѣ можно запереть ликующую весну в сараѣ?!...

Мы шли с ней лепечущими березовыми перелѣсками, полными солнца, запахов упоительных и птичьяго гомона.

— Я знаю, что вы ведете дневник... — сказала Маша. — Покажите, что вы писали в нем это время...

— Да ни за что на свѣтѣ!... — воскликнул я: мой дневник был сплошным гимном ей.

— Ах, вот как?!... Вы не хотите исполнить даже такого пустяшнаго желанія моего?... — воскликнула она. — Прекрасно... Тогда мы с вами больше никогда не увидимся...

— Но ради Бога...

— А тогда дайте мнѣ ваш дневник...

Нужно ли говорить, что чрез нѣсколько минут черненькая книжечка с золотым обрѣзом была уже в маленьких ручках и сѣрые огневые глаза жадно пили с ея страничек яд страсти?... Она протянула мнѣ книжечку обратно... Я едва нашел в себѣ силы заглянуть в эти сѣрые бездны. Из них сіял пресвѣтлый рай...

— Маша... милая... солнце мое...

И в палящем взрывѣ перваго поцѣлуя вдруг сгорѣла солнечная вселенная...

— Сегодня ночью, поздно, когда всѣ уснут, я выйду к тебѣ сюда... — ласкаясь, пролепетала она. — Ты будешь ждать меня вот тут, на тропѣ...

Я не знаю, как дожил я до завѣтнаго часа. Лунная августовская ночь, прохладная и тихая, была подобна огромному сапфиру, который вдруг зажегся, покойный и торжественный, в безднѣ вселенной. Жизни не было, было какое-то колдовство... Не вѣрилось, что кругом земля... А когда в серебристом сумракѣ, среди свѣтящихся на лунѣ бѣлыхъ стволовъ берез, раздался сухой, быстрый шелестъ шелка, весь міръ запылалъ огнями... Это было совершенно невѣроятно, но это было фактъ: бѣлокурая головка блаженно лежала у меня на груди и мягкія, теплыя губы искали моихъ губ...

Я не помню этой ночи, этого сапфироваго сна, этого полета на коврѣ-самолетѣ любви къ звѣздамъ. Помню только одно: это было мучительнѣйшее блаженство, это была блаженнѣйшая изъ мукъ. И еще помню одно: в эту ночь мы остались по сю сторону жуткой черты, над которой с огненнымъ мечомъ в рукахъ, стоитъ строгій ангелъ съ крѣпко сжатыми губами... И мы все никакъ не могли проститься: простимся и — не можемъ оторваться одинъ отъ другого никакъ... А за лѣсами уже засіялъ разсвѣтъ...

— Завтра, тоже около одиннадцати, я опять выйду къ тебѣ... — прошептала она. — Но будь остороженъ, смотри...

Глубокій сонъ, весь окрыленный, какъ серафимъ, и — ужасные часы ожиданія, когда часовыя стрѣлки никакъ не хотятъ сдвинуться съ мѣста, и по осеннему пышный закатъ, и вотъ снова тихо, волшебнo, потрясающе расцвѣлъ въ самомъ сердцѣ вселенной изумительный сапфиръ лунной ночи...

Торопливое шелковое фру-фру юбокъ, нетерпѣливыя руки, молодое, жаркое тѣло, прижавшееся ко мнѣ, и слова, слова, слова, безъ счета, безъ связи, безъ смысла, которыя пьянятъ душу виномъ небеснымъ, тѣмъ виномъ, которое я жадно пилъ



всю жизнь и без которого теперь, в сѣрой холодной пустынѣ старости нечѣм жить....

— Но, солнце мое... Но как же можешь ты так мучить меня?...

— Милый, нѣт... — задыхается она. — Нѣт и нѣт!...

— Малик...

— Нѣт, нѣт, нѣт...

И быстрый бѣг стройных ног среди бѣлых, замороженных берез, и жаркое дыханіе пойманной бѣглянки, — я чувствовал, как ей хотѣлось, чтобы я скорѣе поймал ее... — и все вдруг валится в пропасть сапфирового огня...

— Малик, я умру от счастья...

— Мой... мой... мой...

Она стыдливо встала с росных, душистых трав. Строгій ангел с вдруг просвѣтлѣвшим лицом взмахнул серебряными крыльями и бережно понес в звѣздныя бездны, к престолу Бога, два пылающих сердца... А мы, сплетенные в одно, шли причудливой чернью лѣсной дорожки сами не зная куда... И вдруг я весь затрепетал: из милых глаз катились тихія слезы!... Моя королева плакала от восторга и умиленія сапфировой ночи...

— Малик, я умираю от счастья...

— Мой... мой... мой...

\* \* \*

Маша — она снится мнѣ иногда и теперь, болѣе тридцати лѣт спустя!... была едва ли не самой яркой звѣздой на небосклонѣ моей жизни. Буквально, „не счесть алмазов“, которыми засыпала эта колдунья мою жизнь... И мнѣ трудно сказать, кто из нас был болѣе сумасшедшим. Для нас слово „невозможно“ совершенно не существовало: напротив, чѣм безумнѣе была затѣя, тѣм



страстиѣ мы хватались за нее. Трудности и опасности мы создавали сами — часто по пустякам... Раз, помню, мы рѣшили провести пасхальные каникулы на охотѣ в заволжских лѣсах. Пасха была ранняя и, когда мы пріѣхали в Юрьевец-на-Волгѣ, рѣка только что вскрылась и мутными полоями выливалась из берегов, вездѣ бѣлѣл еще снѣг, а стрежнем рѣки еще неслись неудержимой лавиной послѣднія льдины. Переправа чрез Волгу была, конечно, безумством, но, с другой стороны, как же упустить глухариные тока?...

— Как, Малик?...

— Попытаемся, милый...

Над сѣрым уѣздным городком стоял неумолкаемый гуд краснаго звона, точно подмывавшій нас на безумства, всюду слонялся, то лузгая подсолнышки, то христосуясь, праздничный народ, полиція усердно развозила пьяных по каталажкам, — разговѣлись, нельзя же... — всюду алѣла по мокрой, холодной землѣ скорлупа пасхальных яиц, а суровый, рѣзкій вѣтер так и рвал над пѣгой землей и разливающейся все шире и шире рѣкой... Мы подошли к рыбакам, сосавшим собачьи ножки около своих только-что осмоленных заново лодок...

— А не перевезете ли нас, братцы, на ту сторону?... — спросил я.

Тѣ поглядѣли на меня так, как смотрит всегда мужик на шалаго барина, который, по глупости, городит сам не зная что.

— Немысленное дѣло... — слышались голоса. — Эван как лед-ат стрежнем прет... Денек-другой погодить надо...

— Я хорошо заплатил бы...

Переглянулись. Почесали в затылках.

— А что дашь?

— А что возьмете?

Замаялись: не продешевить бы! Господин, видимо, дурашный...

— Ну, двадцать пять рублей?... — попробовал я.

По тѣм временам, когда мужик работал за сорок копеек на своих харчах от зари до зари, это были неслыханные деньги. Точно живой водой sprysнул я рыбаков. Началось оживленное совѣщаніе. На берегу сгрудились любопытные юрьевцы поглядѣть на сумасшедших. Худой исправник с висячими усами подошел к нам и вѣжливо, но строго сказал, что, хотя запретить нам эту дикую затѣю он и не может, но считает своим долгом предупредить нас, что это безуміе. Но рыбаки уже таскали оживленно наши чемоданы из гостиницы в пахнущую смолой и сыростью завозню...

Все готово... Рыбаки истово крестятся на поющую всѣми колоколами бѣлую соборную колокольню. Я бережно укутываю милую в мѣха. Юрьевцы ужахаются...

— Ну, с Богом!...

И шестеро гребцов в рваных полушубках дружно ударили в весла. Я стал на кормовом. Лодка пошла вдоль берега, прямо против воды, чтобы, поднявшись вверх версты на полторы или двѣ, броситься перебивать стрежень. Вѣтер рвал и метал. Мутная, ледяная волны тревожно лопотали под низкими бортами завозни. Под угрюмыми тучами черными треугольниками носились дикія утки. Журавли, борясь с вѣтром, трубили в серебряныя трубы. Изнемогая, мы поднялись куда нужно и старшой, сѣдой и изможденный, хмуро уронил: ну, пора!... Всѣ враз сняли шапки, истово помолились на бѣлѣющій вдали собор и я бросил завозню носом против бѣщенаго теченія, к стрежню... Рыбаки, скинув полушубки, в однѣх



рубахах, гребли из всѣх сил, но нас неудержимо сносило...

— Мотри: не задѣнь часом льдины какой!.. — строго бросил мнѣ старшой. — Во всѣ глаза гляди...

— Понимаю, понимаю...

Вокруг нас уже кипит волной стрежень и непрерывным караваном, съя смертный холод, несутся льдины. Маша изрѣдка, с улыбкой, оглядывается на меня, но у меня на душѣ тревожно.

— Наддай, наддай, ребятишки!... — строго говорит старшой.

И вдруг завозню встряхнуло, раздался глухой удар и треск и из проломленного носа к нам под ноги хлынула мутная, ледяная вода: ехидная подводная, сверху невидная льдина протаранила лодку... Рыбаки, побѣлѣвъ, бросили весла и стали молиться... Я до старости так и не мог ясно рѣшить, трус я или нѣтъ. Если храбрым называется человек, который ничего не боится, то таких людей, по моему, вообще не существует. До наступленія опасности я могу испытывать страх — и еще как!... — но, как только опасность четко опредѣлится, голова моя сразу удивительно проясняется и воля дѣлается желѣзной.

— Всѣ берись за весла!... — рванул я.

Миновав побѣлевшую Машу, я схватил чей-то полушубок и бросился на нос. Вода горбом хлестала в безпомощно кружившуюся завозню.

— Всѣ гребите!... Разом...

Еще мгновение, я, весь мокрый, забил полушубком пробоину и снова рванул:

— Двое откачивать воду, остальные гребите!... Живо...

Одним ударом кормового я снова поставил лодку против воды. Двое из всѣх сил откачивали воду — один деревянным ковшом, другой футляром от моего дробовика. Вода как будто



перестала прибывать, но не убывала. Вещи наши плавали туда и сюда. Маша, бѣлая, с мокрыми ногами, тряслась от холода...

— Наддай!...

Я не помню, сколько времени прошло в этой смертной борьбѣ, но вот вдруг по днищу завозни зашуршали вѣтки затопленного лозняка: мы выбились-таки со страшнаго стрежня на тихіе полои... Бѣлая колоколенка какого-то „Егорья“ — до него было еще версты двѣ воды, — красным звоном славила наше воскресенье. Нас уже замѣтили и на берег сбѣгался народ поглядѣть на полоумных... И вот, наконец, наша отяжелѣвшая завозня тупо ткнулась разбитым носом в илистый берег... Праздничная толпа, галдя, окружила нас... Рыбаки усердно молились на гудящую церковь...

Обсушившись, на другое утро мы выѣхали в лѣса по Немдѣ. В голубой безднѣ, исчерченной черными треугольниками птицы, ликовало солнце. Красным звоном гудѣла вся земля: точно угадывая, как жарка и сладка была эта вешняя ночь по выходѣ из почти вѣрной могилы, она славила наши безумства и любовь...

\* \* \*

А эта, другая пасхальная ночь, когда Маша, послѣ долгой борьбы за свободу и за право любить, только-что переѣхала совсѣм ко мнѣ?... Сперва мы рѣшили-было пойти в Кремль, но в самую послѣднюю минуту заколебались: это прежде всего значило потерять цѣлую ночь для любви. Для этого мы оба были слишком язычники...

Мы блаженно дремали с милой в теплой комнатѣ. За окнами — рамы были уже выставлены, — стоял смутный гомон и передвиженіе толп: то с куличами и пасхами москвичи спѣшили по

своим приходам и в Кремль. Но постепенно эти шумы земли затихали под звѣздами и все налилось торжественной, слегка морозной тишиной. Поцѣлуи моей милой точно огненными цвѣтами украшали ночь... И вдруг, в черной тьмѣ, от Кремля донесся ни с чѣм несравнимый первый удар большого колокола. Завороженная звѣздными часами ожиданія Москва сразу отвѣтила ему голосами тысяч своих колоколов и наша комната мгновенно вся освѣтилась: то жарким костром вспыхнула во тьмѣ радостными огнями, стоявшая как раз против наших окон, церковь...

— Пойдем, посмотрим... — развязывая жаркій узел своих милых рук, тихо сказала Маша. — Я так люблю эти ночные огни...

Я накинул халат и подошел к окну, а Маша, вся во власти нѣги, не могла, блаженная, сдѣлать движенія. Большая церковь вся полыхала огнями. Стекла дрожали от восторженного рева колоколов. И вдруг двери церкви отворились и оттуда, под тихо колеблющимися хоругвями, потекла огненная рѣка крестнаго хода. „Христос воскресе из мертвых“... — торжествуя, загремѣл в ночи хор.

— Иди же скорѣе!... — бросил я назад.

За мной раздался шорох и тихое, испуганное „ах“! Я обернулся и обмер: в теплых отблесках огненного потопа предо мною стояла Маша, вся обнаженная. Я сразу понял: второпях она просто выскочила из своей разстегнутой рубашки, в которой она запуталась ногами. Стыдливая, она невольно повторила несравненно-женственный жест Венеры Медицейской и пролепетала:

— Да не смотри же!...

— Останься так!... — восторженно уронил я.

И под потрясающій гуд колоколов, под грохот кремлевских пушек и торжествующіе хоры, в



морѣ огня, я бросился к ногам моей несравненной... Весенняя земля праздновала в ночи свое воскресенье к жизни и любви — чаровница Маша была прекраснѣйшим воплощеніем этого торжества жизни.

\* \* \*

Как-то в сочельник я получил от моего друга Ф., с Урала, телеграмму: „двѣ берлоги пріѣзжай немедленно“. Нужно ли говорить, что в ту же ночь мы с Машей уже неслись в сибирском экспрессѣ на восток? Три дня блаженнаго уединенія с милой в теплом уютном купѣ и вот мы уже мчимся в желѣзно-морозной ночи, под звѣздами, на тройкѣ бѣшеных башкирок по искрящейся степи среди темно-синих гор. Мороз такой, что дышать трудно, а ѣхать надо 60 верст. За полночь, едва живые, от нестерпимаго мороза, мы прилетѣли в Мосягутово. Радостная встрѣча, веселый ужин и блаженство теплой, уютной спальни...

— Иди же скорѣе!... — сонно пролепетала Маша, протягивая ко мнѣ свои прекрасныя, не-терпѣливыя руки. — Я так иззябла...

Даже в сладком небытіи глубокаго сна я чувствовал, как бездонно счастлив я ея любовью... И вдруг откуда-то из тридевятаго царства до меня долетѣли сердитые крики. Я с усиліем раскрыл глаза. На плечѣ милое, разрумянившееся личико Маши в прелестной путаницѣ нѣжных волос. Душа от восторга плещет лазурными крыльями: моя... моя... моя!... За стѣной сердитый гвалт. Я взглянул на часы: 11. 45. Тихонько, чтобы не потревожить милую, я встал, накинул доху и выглянул за дверь: Ф. хмуро стоял среди сердито галдѣвших башкир. Оказалось, что соперник нашего



обкладчика из ревности спугнул обоих медвѣдей. Может быть, удастся обложить их и второй раз—снѣга глубоки, далеко не уйдут, — но пока что, дѣло выглядѣло погано...

— Ну, ничего... — утѣшал нас за поздним завтраком Ф. — За мѣдвѣдями будут слѣдить. А завтра утром я покажу вам такую охоту, какой вы еще ни разу не видали...

Весь день мы блаженно отдыхали в теплой, уютной комнатѣ от далекаго пути по налитым морозом равнинам и весело кричали о звѣрях, птицах, оружii, собаках и всей этой милой охотничьей чепухѣ, без которой для нас тогда и жизнь была не в жизнь... Маша мягким котенком жалась ко мнѣ — я чувствовал, что вся она так и звенѣла от любви — и Ф. с нескрываемой завистью смотрѣл на нас...

А на утро, чуть заснѣлось, мы уже шумѣли сборами в передней. У под'ѣзда позванивала колокольчиком и рокотала бубенцами тройка. Еще нѣсколько минут, и тройка несла уже нас морозной степью к синим горам. Вдали, слѣва, нестройной толпой скакали башкиры-загонщики, а справа, вытянувшись в струну, спѣшили двѣ тройки приглашенных на охоту сосѣдей.

—Надѣюсь, ты взял патронов достаточно?...— глухо слышалось из-за покрытаго инеем воротника дохи Ф.

— Но... полный патронташ, понятно...—отвѣчал я.

— „Полный патронташ“!... Это тебѣ не твое Подмоскovie... — усмѣхнулся прiятель. — Ну, не бѣда: у меня большой запас...

Наш полет под нарядные звоны оборвался у устья широкой, поросшей сѣро-золотистым камышом долины. Башкиры-всадники, вооруженные длинными арапниками, заскакивали уже от гор.

Цѣпь стрѣлков в бѣлых балахонах заперла выходы. Маша, тоже вся бѣленькая, как Снѣгурка, и не вырази́мо прелестная, затаилась сзади меня. Сѣрые глаза ея смѣялись, а мое сердце купалось в радостных пожарах. Сле́ва от нас, в сотнѣ шагов неподвижно стоял весь бѣлый Ф.

Гдѣ-то справа стукнул сигнальный выстрѣл и цѣпь башкир — они казались отсюда, поверх сѣро-золотистаго камыша, черненькими игрушками — пришла сразу в движеніе. Всадники медленно плыли к нам по камышам и нестройно кричали и хтопали арапниками. Вдруг справа и сле́ва стукнули выстрѣлы, впереди в камышах раздался шорох и вот на меня, заложив уши, несутся три бѣляка. Я вскидываю ружье и в тот же миг вижу еще нѣсколько зайцев, и справа, и сле́ва. От неожиданности я растерялся и наспѣх — раз, раз... Бѣляки, пыля сухим снѣгом, пронесли́сь мимо. По всей линіи стрѣлков шла непрерывная сухая трескотня. Мимо меня все пылили — да кучками, по нѣсколько штук!... — бѣляки... Дрожащими руками я торопливо вложил патроны, снова раз-раз, снова снѣговая пыль и — хоть бы шерстинка... Маша, не раз выдававшая мои триумфы, просто глазам своим не вѣрила...

Зайцы сыпали, как из мѣшка, десятками, сотнями, по линіи шла перекатная пальба, а я блистательно мазал раз за разом. От гор, все хлопая арапниками, надвигались башкиры...

— Айда, айда, куян!... — кричали они. — Айда!...

„Куяны“ не заставляли себя просить и, пыля, рвали́сь сквозь линію стрѣлков. За стволы ружья уже трудно было держаться: до того они нагрѣлись. Но — за мной не числилось ни одной заячьей души!... Мальчишка-башкирин, по приказанію Ф., со смѣхом принес мнѣ запас патронов. Я мазал. Ф. помирал со смѣху.

— Да что с тобой, миленькій?... — повторя-



ла Маша. — Может, тебѣ лучше отдохнуть?... Дай я пока пострѣляю...

Раздраженный и смущенный небывалым позором, я молча передал раскаленное ружье Машѣ. Снова раз-раз и бѣляки, не оставив на снѣгу и кровинки, пропылили мимо...

— Да что они, заколдованы, что ли?!...

Раз-раз—хоть бы что!...

— Айда, айда, куян!... — горланили башкиры. — Айда...

Среди сѣро-золотистаго камыша носились и прыгали шустрыя, бѣлыя тѣни и стрѣльба не остывала по всей линіи. Маша снова выстрѣлила и вдруг заяц, свалившись, заверезжал, как ребенок. Это было уже хуже всякаго промаха. Маша болѣзненно сморщилась и послала по звѣрьку еще заряд. Было видно по снѣгу, как дробь пронеслась над ним. Она ударила из другого ствола — заряд зарылся в снѣг, не долетѣвъ до бѣляка. Заяц с отбитым задом крутился на одном мѣстѣ и верезжал ужасно.

— Дай скорѣе!... — нетерпѣливо бросил я и, обжегшись о стволы, послал бѣдному звѣрьку еще заряд.

— Я видѣл, что опять промазал, — по неподвижному звѣрю!... — и в бѣшенствѣ на себя, не зная, что дѣлать, стоял дураком. Заяц свалился сам, а я, не заряжая ружья, мрачно сцѣпив зубы, ждал, пока стволы остынут хоть немного. Ф., глядя на нас, кричал что-то веселое и вмѣстѣ со своим „талайтышкой“ — по башкирски: мальчуган, — покатывался со смѣху.

— Айда, куян!... — хлопали уже совсѣм близко по камышу башкиры. — Айда!...

И вдруг из недалекаго кустарника передо мной, шумя могучими крыльями, поднялся огромный филин, чудовище, какого я еще ни разу в



жизни не видал. Я сперва растерялся, потом быстро вложил в ствол патрон. Ослѣпленный солнцем, филин не рѣшался летѣть в сторону сразу неистово заоравших на него башкир, ни в сторону стрѣлков и стал растерянно набирать высоты. Треснул мой выстрѣл и чудовищная птица вдруг сложила свои могучія крылья и колом упала в золотистые камыши. Это вышло так четко и красиво, что Маша, восхищенно завизжав, бросилась мнѣ на шею. Ф., хохоча, рукоплескал... Я утѣшился, достал из глубокаго снѣга огромную птицу и положил ее к маленьким ножкам моей царицы...

Башкиры-обкладчики тѣм временем осторожно слѣдовали за медвѣдями, которые, на большом разстояніи один от другого, уходили глубокими снѣгами в сторону Таганая. На другое утро послѣ замѣчательной заячьей охоты и мы послѣдовали за ними, ночуя в попутных, по-сибирски огромных селах — с. Тастуба тянется, на примѣр, вдоль дороги на 12 верст!... — охотясь и веселясь: стояли морозныя и веселыя Святки. Остановить звѣрей нам так и не удалось: вѣроятно, чуя за собой незримую погоню, медвѣди ломили снѣгами к Таганая. А тѣм временем подошел и день отѣзда. Значит, до другого раза...

Послѣдніе дни мы жили всей нашей большой компаніей у богатаго мужика Ефрема Иваныча. У него был превосходный, помѣстительный дом, на дворѣ стояло нѣсколько бѣшеных троек, которыя с ранняго утра его сыновья, все молодец к молодцу, подавали нам для охоты, было много рогатаго скота, чудовищных свиней и цѣлая очень горластая, как и полагается, республика птицы. На задах, „как князя“, стояли потемнѣвшія скирды пшеницы за нѣсколько лѣт. Удивляться этому не приходилось: Ефрем Иваныч снимал у безпеч-

ных башкир непаханный, полутора-аршинный чернотом по 20 коп. за десятину, а семья его была очень большая и очень дружная. За стол садилось человек двадцать пять. Таких мужицких ульев в коренной Россіи видѣть было уже нельзя — эти богатыри уходили из нашей тѣсноты на раздолья Сибири...

Порѣшив возвращенье, Ф. вызвал в сосѣднюю горницу Ефрема Иваныча, чтобы посчитаться, и меня, чтобы я посмотрѣлъ на уральскіе нравы и обычаи.

— Это как так посчитаться? — нахмурился богатырь с сѣдой бородой во всю могучую грудь.

— Ну, мы жили у тебя не один день... — сказал Ф. — Ты кормил и поил нас до отвала, гонял тройки с утра до ночи... Не можем же мы не отблагодарить тебя...

— И говорить про то не моги, а то осерчаю!... — строго отвѣчал богатырь. — Ты у нас своих порядков не заводи. Нам старину рушить не приходится... Гость это гость...

— Да послушай, Ефрем Иваныч...

— И слушать не желаю!... — хмурился тот. — Это что же: ежели я когда к тебѣ погостить заѣду или вот к Ивану Федоровичу приѣду Москву поглядѣть, что же, вы с меня за постой да харчи денег требовать, что-ли, будете?... Ты хрещеный аль нѣтъ?... Я, может, до смерти теперь поминать буду, как у меня хорошіе люди гостили, а ты с твоими деньгами лѣзешь... И не говори, а то взаправду осерчаю...

Мы должны были покориться. Сердечно простившись с милыми хозяевами, мы вышли к воротам, гдѣ уже позванивали колокольчиками готовые тройки. Мы сѣли с Машей в удобную теп-



люю кибитку и я вдруг почувствовал, что ноги протянуть нельзя, что в передок что-то положено.

— Это что еще там?

— Не замай, Федорыч... — проговорил старик. — Это мои бабы гостинцев вам, москвичам, положили...

— Какіе гостинцы?... Нѣтъ, это рѣшительно невозможно!...

— А я говорю: не замай!... То два мѣшка с битой птицей: индюки там, гуси, утки...

— Ефрем Иванович!...

— Не замай!... Это у вас в Москвѣ, рассказывают, индюк вродѣ как за птицу почитается, а у нас их сколько хошь, двугривенный на выбор... Да трогай, Митя!... — обратился он к сыну на козлах. — А то с ними до вечера проканителишься... С Богом!... До увиданья, Федорыч... Машенька, прощай... Будете опять в нашей сторонѣ, милости просим погостить к нам опять... С Богом...

И залились колокольчики...

Конечно, из Москвы мы первым дѣлом отправили гостинцы Ефрему Ивановичу, а из чудовищнаго филина Лоренц сдѣлал мнѣ неподобное чучело, над которым завистливо ахали всѣ мои друзья-охотники. Долгіе годы царил он над моим рабочим столом, широко раскинув свои могучія крылья и зло глядя на меня своими желтыми, круглыми глазами. Когда вспыхнула революція, возставшій народ поторопился отобрать у меня и филина, и другія чучела, всѣх этих нѣмых, но милых свидѣтелей моей вольной, бродячей жизни охотника. Так мой филин и живет теперь в каком-то пролеткультѣ, что ли, но никто из этих чужих мнѣ людей и не подозревает, что уральскій красавец хранит в своей могучей груди воспоминаніе о жарком поцѣлуѣ, который подарила мнѣ



Маша среди веселой трескотни выстрѣлов, пылящих по бѣлой степи зайцев и нестройнаго гомона диких всадников-башкир...

\* \* \*

А эти ночи с ней, ночи безумныя, ночи бессонныя, когда в палящих молніях ревности погибала, казалось, вся вселенная. Как правило, женщины терпимѣе к прошлому любимаго человѣка, но есть — слава Богу — среди них и такія, которыя при одном намекѣ на такое прошлое, сходят с ума. Мнѣ эти ненасытныя были всегда особенно дороги и так понятны... И что удивительно, так это то, что эти страшныя драмы бывают далеко не со всякой женщиной.

Маша вышла замуж, когда ей едва минуло 17—только для того, чтобы вырваться из душнаго отчаго терема. Не прошло и года, как ее плѣнил полковой ад'ютант. Послѣдовал разрыв с мужем, возвращеніе под кровлю отчую и еще болѣе суровое заключеніе в теремѣ, из котораго она и бѣжала ко мнѣ. И вот это-то ея прошлое и было для меня источником муки нестерпимой: мое сердце чуть не с колыбели твердо подняло знамя Великой, Единой, Недѣлимой.

— Ну, да, понятно... — саркастически бросила мнѣ недавно одна княжна-бѣженка. — Пред'являть такія требованія, мужчина может только тогда, когда он сам Великій, Единый, Недѣлимый... — подчеркнула она голосом мужской род своих прилагательных. — А то требованія-то пред'являть вы умѣете, а сами...

Княжна еще не поняла, что любовь стоит внѣ всякой логики, соображеній о „справедливости“, что у нея свои законы, своя мораль, что,

вступая на престол, она уничтожает все, что было, все что есть, и все, что будет...

Именно так и любил я Машу. Ея прошлое вставало для меня во всем своем ужасѣ часто от одного слова, и жизнь моя в миг превращалась в ад кромѣшный. С одной стороны сердце хотѣло бы поглотить все это навсегда без слѣда, а с другой — оно непременно хотѣло знать все, весь ужас, до дна...

...Уткнувшись в подушку мокрым лицом, она рыдала в ночи...

— Нѣтъ! Ты должна сказать мнѣ все... Гдѣ это было?

— Но, милый... родной... ради Бога...

— Говори, гадина, или я задушу тебя!.. — хрипѣл я.

— Милый, пощади...

Желѣзной хваткой впиалась горячая рука в атласную шею.

— Говори, проклятая!..

И, корчась от боли, я слушал отрывистыя, безумныя, страшныя слова...

— И потом?

— Но, родной мой...

— Ты будешь говорить, змѣя!... И не касайся меня: ты мнѣ гнусна... Я не вѣрю ни нѣжным словам твоим, ни ласкам, — скольким до меня ты расточала их?... Говори все!...

И так шли часы, багровые от отблесков этого нестерпимаго ада и залитые слезами. Тѣни-мстителѣ, как дьяволы, кружились вокруг нас во мракѣ и хлестали по душам скорпіонами невыносимых воспоминаній. Боже мой, но за что же мстили они нам?... За былую любовь?... Но развѣ любовь преступленіе?... За то, что, забыв их, мы осмѣлились быть счастливы без них, по новому?... Но вѣдь и они, может быть, были счастливы по-

том с другими и, может быть, этих других также терзают наши тѣни... За что?... За что?!...

И вдруг блѣдная, истерзанная, вся мокрая, Маша содрогнулась в кашлѣ и маленькій платок ея окрасился кровью.

— Маша, солнышко мое, прости меня, звѣря!...

И в мукѣ я прижался исковерканным лицом к ея бѣлым ножкам.

— Ничего, ничего... Это сейчас пройдет... Иди ко мнѣ... Возьми меня, прижми крѣпко... Не давай меня ей...

И она, бѣлая, холодная, с безсильно закрытыми глазами, уже лежала своей прелестной головкой у меня на груди и я боялся даже перевести дыханіе, чтобы не потревожить ее... И потихоньку она приходит в себя, ласки ея становятся горячѣе и слѣпящія молніи страсти прогоняют бѣсов тьмы в ея поцѣлуях, и сгорает все, кромѣ ошеломляющаго счастья, для выраженія котораго нѣтъ слов...

— Цѣлуй... Еще... Скорѣе!...

— Маша моя!...

— Мой... мой... мой...

Дураки-поэты изображают все любовь, как какое-то лазурное счастье. Любовь не лазурь, а мука, тончайшая и блаженнѣйшая из мук... И захотѣл ли бы я от этой муки отказаться?...

Да ни за что на свѣтѣ!...

\* \* \*

А кончилась жгучая даже в воспоминаніи поэма эта ударом ножа, изступленным криком Маши и жаркою кровью, которая залила всю мою грудь. Она, точно в пляскѣ, ушла в — тогда—лазурныя дали жизни. Ея страшная легочная бо-



лѣзнъ к общему изумленію остановилась. О безумствах моей сѣроглазой Кармен я слышал не раз — и Индія упоминалась тут, и Китай, и Японія... Но я не мог забыть ее и тѣ двѣ сапфировыя ночи...

И подошла старость. И вдруг из пепла сгорѣвшей жизни, на зачарованных берегах дивнаго Конигсзэе, в Баваріи, всплыло неожиданное письмо:

„...Как я рада, что нашла, наконец, тебя!... Скорѣе напиши мнѣ о себѣ все, все, все... Я служу работницей на табачной фабрикѣ в Болгаріи, но, говорят, скоро уволят: кризис, как вездѣ... Но как хотѣла бы я видѣть тебя!...“

Я отвѣтил ей ласково, но — этого преступленія не могу простить себѣ вот уже двѣнадцать лѣтъ!... — прибавил: „я буду рад получать от Вас от времени до времени вѣсточку, но нам нельзя уже писать один другому на ты: у меня уже взрослые дѣти. Прошлаго, все равно, не вернешь“...

Маша оскорбилась и замолчала — точно умерла...

Маша, милая, прости меня!...

\* \* \*

Когда я встрѣтился с ней в Ялтѣ, их было всегда двѣ, два будто бы погибших, но милых созданья, двѣ свободных жрицы Киприды: Лизочка и Клавочка. Лизочка была небольшого роста, мускулистая, с волной каштановых волос на сухой головкѣ — тогда, повторяю, женщины не стриглись и не стремились походить на какого-то *soldat inconnu*, — а Клавочка, напротив, была пухлая, бѣлая, вся в прелестных ямочках, томная одалиска с голубыми, как крымское небо глазами,

Объ онъ развернули для атаки всѣ свои вооруженныя силы. Меня потянуло к... обѣим и не мало времени простоял я на солнечном берегу эдаким многотрудным Буридановым ослом: Клавочка или Лизочка, Лизочка или Клавочка? Но мудро говорит наш прекрасный русскій народ: кто смѣл, тот и с'ѣл. Мое сердце все болѣе склонялось к Клавочкѣ, но она была слишком лѣнива, слишком одалиска, тогда как энергичная, огневая Лизочка то и дѣло бросала всѣ свои силы в горячій бой...

Раз, помню, поѣхали мы вчетвером в Алупку пообѣдать: обѣ красавицы, Ф., у котораго я гостил с Машей на Уралѣ, и я. Шампанское бросилось в и без того достаточно сумасбродную голову Лизочки и не успѣли мы, пообѣдав, сѣсть на наших коней, как она подняла своего скакуна с мѣста так, что у всѣх нас сперва дух захватило. Еще секунда и я летѣл по бѣлому шоссе вслѣд за сумасшедшей...

— Лизочка, так нельзя!... — нагоняя, крикнул я ей. — Твой конь давно не кован... На поворотах...

Лизочка, не слушая, наддала так, что я сперва опять растерялся, а потом разсвирѣпѣл, схватил на скаку за повод ея коня:

— Не смѣть так!...

Лизочка, блѣдная, с сумасшедшими глазами, улыбнулась пьяной улыбкой...

— О, какой ты!... — едва выговорила она. — Настоящій татарин... Поди сюда...

И горячія руки завязали на моей шеѣ свой колдовской узел...

Мы подѣхали к какому-то духану на солнечном проселкѣ. Бросив поводья татарину, мы зарослями полѣзли чрез скалы к морю. Уже смеркалось. Вверху в сиреневой мглѣ затеплились



звѣзды. Лизочка устало опустилась на вырубленную в скалѣ скамью.

— А я все-таки устала...

— Ты сумасшедшая... Если мы с тобой живы, то только заступничеством какого-нибудь угодника...

— Я не хотѣла, чтобы эта противная Клавка все торчала у меня перед глазами... Тоже сокровище, подумаешь!...

Ея тонкія ноздри раздувались...

...Началась жгучая сказка. Лизочка была в достаточной степени легкомысленна, а я в серьезнѣйшем дѣлѣ жизни, любви, никаких шуток не допускал. Надо было быть всегда на-чеку. Но с одним из моих соперников я все же справиться не мог. Это было — море...

Обѣ — и Лизочка, и Клавочка — были какими-то наядами. Когда онѣ выходили купаться, вся набережная покрывалась обыкновенно пестрой цѣпью зрителей. И вот из бѣлой купальни, в ослѣпительном блескѣ солнца, появляются двѣ изящных пестрых фигурки: полная, пышная, точно битыя сливки, Клавочка, вся нѣга и лѣнь, и тонкая, смуглая, мускулистая, горячая, как горскій скакун, Лизочка. Онѣ так привыкли к обожанію толпы, что нисколько уже не стѣсняются своей полу-наготы. Но мнѣ противно: что мое, то мое. И странно сердце человѣческое: у меня выходило как-то так, что и Клавочка это тоже мое... Впрочем, выбрав Лизочку, я не раз сомнѣвался: не лучше ли было бы выбрать Клавочку...

Лизочка с помоста бросила длинный взгляд в мою сторону, наяды красиво прыгнули в полныя солнца волны и плавными, музыкальными движеніями рук легко, точно без всякаго усилія, поплыли в ослѣпительно пылающее море — дальше, дальше, дальше... Пестрыя повязки на красивых



головках быстро потемнѣли и мы с берега видѣли только два черных поплавка, которые, качаясь, то исчезали, то вновь появлялись среди роев солнечных зайчиков, игравших в волнах. И, наконец, онѣ исчезли в солнечной дали совершенно, так, что даже в бинокль нельзя было отыскать очаровательных наяд. Первые дни сердце у меня сжималось — а вдруг?... — но потом я привык. Безмятежное небо, как голубой, добрый глаз Великаго Пана, вносило в душу успокоеніе: все на своем мѣстѣ, все хорошо... Длинная, пестрая гирлянда зрителей, протянувшаяся по набережной, восхищенно галдѣла: дерзкія наяды зажигали своей отвагой всѣх, даже старика татарина, который торговал шитыми крымскими туфельками. Я хмурился: я уже знал, что она вернется из этого солнечнаго потопа, но мнѣ было непріятно, что она может оставаться столько времени без меня: мое это мое.

И так проходил и час, и два, и три...

И вдруг восторженный крик:

Плывут!...

И вдоль набережной снова разгорался радостный галдеж...

И вот качающіеся черные поплавки снова уже превращаются в пестрые платочки, снова видны прекрасныя, с золотым налетом, влажныя руки и даже бѣлый оскал улыбок... Толпа восторженно ревет... И онѣ, стройныя, прелестныя, исчезают в бѣлой купальнѣ... Еще немного и, вся бѣлая, свѣжая, с восторженным блеском в глазах, Лизочка бросается ко мнѣ:

— Ъсты!... Скорѣе... Умираем...

Когда Рок сдѣлал свой выбор, онѣ помирились и почти не разлучались — по крайней мѣрѣ, днем...

Под прелестныя звуки Штрауса — тогда бы-

ло счастливое время: джаза мы не знали... — мои наяды принимались за обѣд... Да как!... И, когда обѣд кончался, мы в пепельных сумерках долго сидѣли, развалясь в креслах, слушали нарядныя пѣсни любви и изрѣдка перебрасывались лѣнивыми словами... Вокруг Клавочки, к моему тайному неудовольствію, потихоньку собирался круг ея аспирантов. К Лизочкѣ приближаться опасались: она всѣм со смѣхом говорила, что я настоящій татарин...

Потом, в ночи, полной пряных запахов земли и трепетанія звѣзд, Клавочка незамѣтно исчезала, а мы с Лизочкой шли к себѣ. От нея восхитительно пахло морем и поцѣлуи, которыми я покрывал это стройное, знойное тѣло, отдавали слегка солью...

\* \* \*

Это было в Лозаннѣ. Внизу голубѣло озеро. За ним громоздилась темносиняя Савойя... Среди довольно растрепаннаго русскаго студенчества—всѣ они были отчаянными революціонерами и очень охотно эту растрепанность подчеркивали во имя народа...—я был с моими приличными костюмами и свѣжими галстуками чѣм-то вродѣ мухи в молокѣ. На меня косились и на ушко шептали, что уж не шпіон ли я: всѣ эти мальчики и дѣвочки думали, что они ужасно опасны правительству и что шпіоны слѣдят за каждым их шагом. Но, по существу, я был „краснѣе“ всѣх их: в то время, как они, отвергнувъ старых кумиров, спѣшили распластаться на брюхѣ перед каким-нибудь новым божком, я смѣялся над всѣми кумирами, и старыми, и новыми. Я был скиѳом в полном значеніи этого слова, для котораго бездорожная воля его безкрайней степи дороже всего. И стоило встать сре-



ди этой очень сердито ошетилившейся молодежи какому-нибудь новому кумиру или кумирчику, как я уже заранѣе ставил загривок дыбом и скалил бѣлые, здоровые клыки: а ну, попробуй!...

Юлія, наоборот, была медичкой и марксисткой. Голову на отсѣченіе даю и сейчас, что она не одолѣла и ста страниц неудобоваримой каши из кирпичей, которую сварил міру лохматый Маркс. Но от этого тон ея только выигрывал в авторитетности... Она была очень маленькаго роста, стройна и блѣдное личико ея всегда нетерпѣливо боролось с потопом ея дивных блѣдно-золотых волос... Я сомнѣваюсь и в том, что она изучала медицину: все время, которое оставалось у нея от всяких собраній, рефератов, каких-то „массовок“ и споров над послѣдним трухлявым № „Искры“, она отдавала длиннѣйшим письмам ко мнѣ — в сосѣдную улицу. Она никак не могла допустить, что вот гдѣ-то совсѣм близко живет какой-то там милостивый государь, который дерзко смѣется в клокатую бороду ея краснаго Магомета. И чѣм ядренѣе насѣдала она на меня со словом спасенія,—тогда діаматом оно еще не называлось—тѣм болѣе дерзко отбивал я ея атаки и высмѣивал пророка. И надо было видѣть ярость этого маленькаго Саванароллы в юбкѣ, надо было слышать, как бичевала она меня, отъявленнаго врага пролетаріата, подлаго буржуя, который осмѣливается мѣнять воротнички каждый день!... И если она не сожгла меня на площади перед старым собором, то, вѣроятно, только потому, что воспитанная швейцарская полиція никак не позволила бы ей этого да и... да, да, пожалуй, было буржуя и немножко жалко. В самом дѣлѣ, в горячих перепалках наших я скоро замѣтил, что Юлія премиленькая, а она тоже, кажется, разсмотрѣла, что в жалком обломкѣ стараго, разлагающагося міра, т. е., во мнѣ, тоже кое-что есть. А



тут еще вертелась вокруг меня Марго, правда, со-  
вѣм не сознательная личность, но прехорошень-  
кая швейцарочка, и двѣ русских Анюты, из кото-  
рых одна валяла по хирургической части, а дру-  
гая восторженно, — ей в самом дѣлѣ не было и  
двадцати—закатывала глаза над „божественным“  
Платоном. И между представителем стараго, обре-  
ченного на гибель міра и яростной пророчицей  
міра новаго потихоньку строился незримый свѣт-  
лый мост и в письмах наших К. Маркс, „Земля и  
Воля“, забастовки, бомбы, маевки и пр. все болѣе  
и болѣе отходили на задній план и временами  
между строк осторожно звучали лирическія нотки.  
Но когда Юлія замѣчала это, она тотчас же рас-  
каивалась и наддавала еще жарче.

А потом — дух бодр, плоть же немощна,  
— чуть слышно заворковала еще не запѣтая как  
слѣдует пѣснь торжествующей любви...

Была вешняя ночь. Над старым собором за-  
снула серебряная луна. Под звѣздами метались  
летучія мыши. Одурманенные пламенным гвалтом  
— в русской библіотекѣ только что кончился мор-  
добой во имя единенія всѣх революціонных сил, —  
мы с Юліей вышли на узкія улочки уже спяща-  
го Ситэ. В тишинѣ свѣжо плескал невидимый,  
старый фонтан. Звѣзды ласково смѣялись на нас:  
я не желал никакого единенія революціонных сил,  
а Юлія никак не могла простить мнѣ этого!.. На  
соборѣ что-то зашевелилось, колокол устало про-  
бил полночь и, по древне-заведенному обычаю,  
сторож на старой колокольнѣ пропѣл среди звѣзд:  
„Ohé les guets: il a sonné douzel!—стража, слушай:  
пробило полночь“...

Я тихо взял Юлію под-руку. Она не проти-  
вилась, но печально поникла своей золотой го-  
ловкой в тяжелых косах.

— Нѣтъ, это ужасно!.., — сказала она. — У  
вас нѣтъ сердца...

— Но почему же у меня нѣтъ сердца? — удивился я и нечаянно взял ея маленькую ручку. — Совсѣмъ напротив...

— А потому, что вы видите страданія пролетаріата и — смѣтаетесь...

— Никогда над страданіями я не смѣялся, — возразилъ я. — Но я знаю исторію. Я знаю, что изъ усилій создать на землѣ рай никогда ничего, кромѣ ада, не выходило. Вы читали в моемъ Діодорѣ Сицилійскомъ описаніе войнъ рабовъ и...

— Вашъ Діодоръ пустой краснобай!...

— Онъ мѣстами очень поэтичен, другъ мой... Помните то его описаніе сицилійской весны, которое...

— И помнить не желаю... Оставьте мои пальцы!...

В самомъ дѣлѣ я, забывшись, перебиралъ ея крошечные пальчики — такъ вот и сѣлъ бы ихъ одинъ за другимъ!... А эта ея головка съ тонкимъ еврейскимъ профилемъ!...

— Можетъ быть, намъ лучше оставить эти безплодные споры... — началъ было я.

— Оставить?!... Наоборотъ!... Теперь, когда сознательный пролетаріатъ началъ такъ успѣшно организацію своихъ силъ...

Я, не слушая, уже снова перебиралъ ея пальчики. Я невольно замѣтилъ: никогда она такъ не путалась въ заработную платѣ, прибавочной стоимости, забастовкахъ и пр. И мое сердце, отмѣтивъ это, забилося горячѣе...

— „Стража, слушай: пробило часъ“!...

— Сущность экономическаго матеріализма можно выразить всего въ двухъ-трехъ словахъ...—безъ большого увлеченія продолжала Юлія. — Во-первыхъ... Но оставьте же мои пальцы!... Позвольте: что во-первыхъ?... Вы сбиваете меня...



— Во-первых, говорит Маркс, дай мнѣ обѣ твои маленькія ручки, — сказал я. — Вот так...

— Это зачѣм?!

— А теперь, во-вторых, говорит Энгельс...

— Но вы совсѣм с ума сошли: нас могут видѣть!...

— А на здоровье!... А во-вторых, говорит Энгельс, дай мнѣ твое милое личико и твои губки, которыя сводят меня с ума...

Она обезсилѣла от моего поцѣлуя и, блаженная, не хотѣла покинуть моей груди... И, обнявшись, мы ходили с ней по спящему Ситэ и сторож, вслѣд за усталым колоколом, возвѣщал: „стража, слушай: било два“...

—И так, все рѣшено: мы ѣдем в Сорбонну, — блаженно говорила Юлія, — будем серьезно заниматься и ты примешь, наконец, участіе в общественной дѣятельности... С твоим сердцем, с твоим умом — нѣтъ, это просто преступленіе перед рабочим классом зарывать такой капитал в землю!...

— А по-моему, миленькая, лучше всего было бы поѣхать теперь в Италію. Ты не знаешь, что такое итальянская весна... Помнишь, у Діодора...

— Да, в самом дѣлѣ, у него это очень красиво... Ну, хорошо: сперва в Италію, а потом, к осени, в Сорбонну заниматься... Ай, смотри: солнце!... Нѣтъ, это рѣшительно невозможно...

У ея порога мы едва оторвались один от другого. Я точно на крыльях полетѣл к себѣ: слава Богу, она воскресла!... К черту теперь „Капитал“ — конечно, в кавычках, потому что как же без капитала ѣхать в Италію?... — к черту экономическій матеріализм, аминь всей этой дребдеднѣ... И да здравствует солнце, цвѣты, любовь и свобода...

Но не успѣл я, выспавшись, броситься вечером к своей ненаглядной, как налетѣл у нея на



цѣлое собраніе голодранцев всього свѣту вкруг нечищеннаго самовара и закованная в броню діалектическаго матеріализма Юлія проповѣдывала им міровую революцію. Когда они выбились, наконец, из сил, и охрипли, мы снова ушли с ней в лунную ночь и она тут же вынесла себѣ строгое общественное порицаніе за вчерашнюю слабость и заявила о своем твердом рѣшеніи остаться — вмѣстѣ со мной, правда, — на революціонном посту... И никаких Италій!... Я пробовал поцѣлуями разбудить ее к прелестной дѣйствительности, но, увы, от отвѣтных поцѣлуев ея отдавало горечью заработной платы и зеленой скукой прибавочной стоимости... А звѣзды все смѣялись над нами, устало пѣлъ старый колокол о быстро сгорающем времени и сторож вѣщал: „стража, слушай: пробило ча-а-ас“...

Так проборолся я с Юліей не мало дней и ночей, но Маркс, косматый черт, побѣдил-таки меня и в тоскѣ я бѣжал в Италію...

Юлія вышла потом как-то очень научно замуж за какого-то чахоточнаго французскаго коммуниста и погрязла во всяких заговорах, а потом, недолго спустя, и она, и муж ея умерли от чахотки... На Маркса я и теперь не могу смотрѣть равнодушно и всякій раз, как увижу эту бородатую, самодовольно-профессорскую рожу, я — понятно, когда по близости нѣтъ никого, — показываю ему кукиш: дур-рак!...



Во время оно, во дни Юліи златокудрой, убиенной нѣмецким гелертером К. Марксом, жила в Лозаннѣ и другая студенточка, маленькая Ревекка. Нельзя было сказать, была она хороша собой или нѣтъ: до такой степени ея дивные бар-

хатные, теплые глаза заставляли забывать все! Таких глаз я не видал больше никогда. Она была, как и Юлія, очень маленького роста, изящна, а блѣдное личико ея было исполнено той кротости, которая разливается иногда послѣ смерти каким-то нездѣшным свѣтом по лицу умершаго. От ея библейскаго имени вѣяло тысячелѣтными легендами. Я был уже влюблен в Юлію, но сердце тянулось и к Ревеккѣ: одна из величайших лжей нашей жизни, закрѣпленная поэтами и романистами, состоит в том, что сердце наше может — и должно — любить только одну. Оно может любить и двух, и трех, и многих, и всѣх. Сердце наше это мір и в нем не тѣсно никому. Но тысячелѣтная ложь владела мной и, любя златокудрую, я тихонько вздыхал по Ревеккѣ. При встрѣчах со мной она была ласкова и ясна, а когда, случалось, она встрѣчала меня с Юліей, в дивных бархатных глазах ея загорались искорки юмора, которыя она торопилась потушить. Иногда мнѣ казалось, что я не совсѣм безразличен ей, но я не смѣл и дохнуть ей о тѣх сокровищах, которыя были дня нея во мнѣ...

Как и Юлія, она была вся во власти страшнаго Молоха революціи, но в то время, как у Юліи в ея революціонных горѣніях явно чувствовалась изюминка какого-то комизма, в Ревеккѣ все было строго, чисто и свято. Она была похожа не то на жрицу страшнаго бога, не то на жертву, приготовленную в закланіе ему. И Юлія была — пусть даже без больших основаній — марксисткой, а Ревекка по слухам принадлежала к боевой организациі социалистов-революціонеров, которые в тѣ далекія времена все болѣе и болѣе изумляли вселенную дерзостью своих выступленій: их страшныя бомбы то и дѣло потрясали Россію из края в край. Юлія говорила много, очень много, много больше, чѣм слѣдует, а Ревекка — молчала...



В самый разгар моего единоборства с косматым Марксом за сердце златокудрой Юліи, Ревекка вдруг исчезла из Лозанны. Вскорѣ Маркс наголову разбил меня, я бѣжал с поля битвы и там, в Италіи, во Флоренціи, по ту сторону Арно, неподалеку от башни Галилея, я рѣшил, что Юлія все же права: пора мнѣ позаняться и дѣлом. Самым важным дѣлом для русскаго мальчика в тѣ времена была революція, — по возможности, міровая, и по возможности немедленно. Но позвольте: какая же к чертям революція, как устраивать мнѣ дѣла міра, когда я не знаю хорошенько, что мнѣ дѣлать и с самим собой? Стало быть, нужно расширить свое образованіе. Я прикинул Сорбонну, Женеву, Геттинген, Гейдельберг, Берлин... — нѣтъ, всѣ эти очаги просвѣщенія были захвачены, как извѣстно, филистерами, учеными колпаками. Поэтому я рѣшил ѣхать в Новый брюссельскій университет, гдѣ среди профессоров были не только соци, но даже и анархисты, как братья Реклю. Я немедленно понесся в Брюссель.

Дѣла в красном университетѣ шли шалая-валя, денег не было и профессора то и дѣло пропускали свои часы, а когда они их, к сожалѣнію, не пропускали, было еще хуже: я рѣшительно не мог понять, почему красные филистеры лучше прежних колпаков. Бездарь и скучища их лекцій были невыносимы. Я никак не понимал, почему для успѣшнаго дѣланія міровой революціи мнѣ нужно цѣлые часы слушать нудную канитель о Марлоу и других предшественниках Шекспира, о римском правѣ или фаунѣ Огненной Земли. Если уж революція — вполнѣ основательно думал я, — то, понятно, такая, чтобы от предшественников Шекспира, римскаго права, Огненной Земли и всѣх этих колпаков не осталось бы и мокраго мѣста...

Раз как-то, изнемогши под невыносимой тя-



жестью свода Юстиніана, — сердце звало в голубя дали, в солнечные просторы Италіи, к милым дѣвушкам...—я, сдерживая судорогу зѣвоты, обернулся и чуть не ахнул: прямо на меня, лаская, смотрѣли несравненные, единственные в мірѣ глаза, глаза прелестной Ревекки!... Она чуть улыбнулась своей застѣнчивой улыбкой моему изумленію и, слегка зарумянившись, кивнула мнѣ своей прелестной черной головкой. Не успѣл профессор, — это был знаменитый тогда Пиккар, — кончить свою нудную канитель, как я бросился к маленькой феѣ: я был уже свободен и мог положить к ея крошечным ножкам свое сразу запыхавшее сердце. Но с ней был какой-то сухощепый еврейскій Авессалом, значительно старше ея, с цѣлой копной кудрявых волос на сухой головѣ и в золотом пенснэ, в котором было много наглости...

— Товарищ М., — представила мнѣ его Ревекка. — Господин Н., — назвала она меня, чуть подчеркивая голосом „господин“. — Анархист, индивидуалист, эстет, московскій Петроній и все, что угодно...

М., яростно проповѣдывавшій в своих листках и на митингах беспощадный террор, увѣренно пробирался на красный Олимп и поэтому я с подчеркнутой небрежностью раскланялся с ним. Он нагло поблестѣл на меня своими стеклышками и отошел к другим.

— Что он тут болтается? — презрительно спросил я.

— Но... он мой жених... — тихонько уронила Ревекка и в дивных глазах ея заиграл нѣжный смѣх.

— А-а!... Поздравляю вас... — холодно сказал я.

— Благодарю вас... — осіяла она меня улыбкой. — А кстати, как Юлія? Не знаете?

— Благополучно марксиствует, насколько я слышал...

— А... развѣ она не пишет вам?

— Нѣтъ... — сухо уронил я.

Свѣтъ Божій померк для меня. Сердце залилось горячей болью. Я обмѣнялся с Ревеккой нѣсколькими фразами и с независимым видом отошел к сухой, стройной, мускулистой армянкѣ Т., огромные, палящіе глаза которой иногда так звали меня.

Сердце болѣло так, что я не пошел в университет ни на другой день, ни на третій, ни на четвертый, — совершенно увѣрен, что ни университет, ни я от этого рѣшительно ничего не потеряли, — так как видѣть рядом с тихо-свѣтлым личиком Ревекки это нагло мотающееся пенснэ я не мог. Я думал даже совсѣм бѣжать из туманнаго болота Брюсселя опять в солнечную радость Италіи, но... а вдруг она пошутила?... Не может быть, чтобы она могла выбрать такого... парикмахера!... И эти ея милые, нѣжно смѣющіеся глаза... Конечно, она пошутила... Я не мог даже дожждаться утра и под дождем, по слякоти понесся в Институт Высших Наук, гдѣ в этот вечер читал свою обычную лекцію знаменитый Элизэ Рэклю. Я не слышал, о чем читал в этот вечер милый старик, о Патагоніи или Исландіи: Ревекки не было—какая же там к чертям Исландія?... На утро я бросился в университет—не было ни ея, ни парикмахера и никто не знал, куда они дѣлись... Я изнемогал и под бурей страданія, пламя страсти разгоралось все болѣе и болѣе. Законодательство Юстиніана, египетскіе іероглифы и предшественники Шекспира, — понятно, я записался на столько предметов, что меня даже вызывал к себѣ ректор, старый де-Грееф, извѣстный соціолог: нельзя же так в один семестр проглотить всю науку... — сразу исчезли из моей моло-



дой жизни, как злые сны исчезают при свѣтѣ утра. Я видѣлъ только бархатные, единственные в мірѣ глаза, я видѣлъ прелестное блѣдное личико, осіянное изнутри нездѣшным кротким свѣтом, эту милую, тонкую дѣвичью фигурку и я бѣсновался, как всѣ герои Шекспира и его предшественников вмѣстѣ. Найти товарища М., а чрез него напасть на слѣд милой было совсѣм не трудно, но кудрявый божок этот был нестерпимо противен мнѣ. Я не вѣрил, что все кончилось. Я ждал чуда, изнемогал, умирал...

И вдруг — помню то ужасное, непогожее утро... — глаза мои, разсѣянно бѣгавшіе за утренним кофе по столбцам послѣдняго номера „Русских Вѣдомостей“ упали на коротенькую телеграмму:

„Кіев. — Вчера, в 10 ч. утра, студентка заграничнаго университета Ревекка Т. выстрѣлом из револьвера убила жандармскаго полковника Новицкаго. Преступница приговорена военно-полевым судом к смертной казни чрез повѣшеніе. Сегодня в ночь приговор приведен в исполненіе на Лысой Горѣ“.

Солнце вмиг потухло для меня—в смертельном ужасѣ и боли. Я заболѣлъ, а оправившись немного, бросил все и унесся снова в Италію.

Многіе годы спустя, уже в эмиграціи, я встрѣтил Авессалома в Парижѣ. Он в свое время играл одну из первых скрипок в Государственной Думѣ, вижжелил, размахивал руками, а теперь, всѣми забытый, опустившійся, жил на мансардѣ. Он очень постарѣлъ, но все также нагло моталось на горбатом носу его мерзкое пенснэ и он был самоувереннѣе даже как будто самого Милюкова. Я встрѣтился с ним на одном из собраній, которое хотѣло, как водится, разговорами „спасти распятую Россію“. Осторожными обходами я навел разговор на страшную смерть прелестной Ревекки.



— Вы так сам и провожали тогда в Кіев вашу невѣсту? — спросил я.

— Какую невѣсту? — вытаращил он на меня свои близорукіе глаза. — Кто вам сказал?... Ни на одну минуту не была она моей невѣстой!...

У меня дыханіе перехватило...

— Но мнѣ казалось... Извините... — пробормотал я. — Так вы тогда... провожали ее... ее в Кіев?...

— Да. А там все рѣшил, как у нас тогда полагалось, жребій...

И мнѣ было ясно, что ни он, ни его собратья до сих пор не понимают, что сдѣлали они, толкнув прелестную Ревекку в смерть, на-вѣки потушив тѣ дивные, единственные в мірѣ глаза...

Эту ночь я не спал. Прошлое ожило в тоскѣ нестерпимой. И „мой жених“, и вопрос о Юліи, и нѣжный смѣх милых глаз, все вдруг освѣтилось для меня новым свѣтом. Я понял, что там, в ночи, на страшной Лысой Горѣ, в то время, как палач накидывал на нее намыленную веревку, она, может быть, с раздирающей душой рванулась ко мнѣ, может быть, звала меня!... Вѣдь, если бы я не был слѣпым, то не грязный палач стянул бы на ее шейкѣ мерзкую веревку, а ее прелестныя руки завязались бы горячим узлом любви на моей шеѣ и вмѣсто черной могилы пред несравненной раскрылись бы, сіяя, врата счастья...

К утру я постарѣл на цѣлых десять лѣтъ...

\* \* \*

Раз, в крещенскій вечерок,  
Дѣвушки гадали,  
За ворота башмачек,  
Сняв с ноги, бросали...

*Жуковскій.*

Стояли лютые крещенскіе морозы. Я возвращался на тройкѣ с очень утомительной, но весе-

лой охоты на лосей в Смоленщинѣ, гдѣ у моего старика был лѣсопильный завод. В небѣ пылали звѣздные пожары. Помѣщичьи усадьбы горѣли огнями, деревни звенѣли пѣснями и смѣхом—шло святочное веселье. Я только-что вѣхал в околицу небольшого городка Дуговщина, как вдруг сквозь охватившую меня дрему почувствовал, как на волчью полость, прикрывавшую меня, что-то упало. Я подумал, что это комок мерзлаго снѣга, брошенный пристяжной, и задремал опять. Но, когда я прѣхал на лѣсопилку, кучер, выгружая меня, нашел на полости женскій башмачок настолько маленькій и хорошенькій, что я, дивясь, откуда он мог взяться, сунул его в необ'ятный карман моей дохи. Собираясь в Москву, я, буквально влюбившись в очаровательный башмачок, спрятал его в ящик письменнаго стола... И, неотвязная, долго меня занимала дума: кто же она?...

Прошел год или два. У меня очень расшатались нервы и врачи послали меня на отдых в деревню. Я без колебанья выбрал наше „Приселье“, лѣсопилку, гдѣ было недурное помѣщеніе, превосходная охота по звѣрю и птицѣ, а в округѣ для развлеченія нѣсколько русских и польских помѣщиков. Сказано—сдѣлано и вот я уже дышу всею грудью милыми мнѣ запахами лѣсов. До открытія охоты было еще далеко и я, отдыхая от Москвы, то сам натаскивал своего несравненнаго Крака II, то ѣздил скоротать вечерок у кого-нибудь из сосѣдей, — чаще всего в усадьбу „Негорѣлое“: Тамара огромила меня с первой встрѣчи. Это была прелестная лѣсная русалка с льняными волосами и глубокими зелеными глазами, в которых только рѣдко загорался смѣх. Душа ея была какою-то Золовой арѣой, которая чутко отзывалась на все, и сложна и неуловима, как сон. Иногда казалось, что Тамара сама все вслушивается в игру своей души и удивляется ей. Это была натура прямая,



рѣшительная и открытая настолько, насколько только сложность ея нарядной души позволяла ей открыться...

Мой „Крак“, блестяще оправдав свою родословную, пошел изумительно. Я предвкушал уже удовольствіе охоты с милым псом, но... но тетеревиные выводы блаженствовали в полном спокойствіи: я был прикован к лѣсной усадьбѣ Тамары. Ея муж — у него были чуть не столѣтніе процессы из-за каких-то майоратов, — то и дѣло уносился то в Смоленск, то в Варшаву, то в Петербург. Тамара скоро подмѣтила, что я стѣсняюсь посѣщать ее в его отсутствіе, и усмѣхнулась:

— Нѣтъ, я не пушкинская Татьяна... — сказала она. — Я — я, моя жизнь это моя жизнь и никакому Молоху в жертву я ее не принесу... „Но я другому отдана...“ Почему „отдана“? И что значит „вѣрна“? Нѣтъ, that is not in my line!.. — трянула она своей свѣтлой головкой. — Я жду вас к обѣду и завтра...

В моем сердцѣ поднялось предгрозовое томленіе и смута. Как и Тамара, я не боялся никаких Молохов и был готов встрѣтить всякую грозу... Ея муж вернулся из Петербурга и, чрезвычайно озабоченный, сейчас же собрался в Баден-Баден, гдѣ жил постоянно его богатый дядя: ему нужна была подпись дяди под какими-то важными документами... И, когда мы, проводив его на станцію, возвращались в коляскѣ золотыми вечерними лѣсами домой, Тамара вдруг крѣпко сжала мою руку и, заглядывая мнѣ снизу вверх в глаза, низким голосом проговорила:

— Я жду...

Ослѣпительной, пьяной молніей сгорѣла дивная августовская ночь и, когда на зарѣ Тамара вышла в парк — в гостиной блѣдно догорали свѣчи... — проводить меня, она сказала:



— К вечеру я переѣду к тебѣ в Приселье, милый...

— Хорошо, родная... — блаженный, отвѣчал я. — Все будет готово... Но, может быть, было бы лучше предварительно уладить все дѣло с твоим мужем?...

— Через час я отправлю ему письмо... Итак, до вечера, любимый...

А-а, эти лѣсные, теперь усталые глаза ея, эта музыка грудного голоса, это пѣніе переполненнаго нѣгой тѣла!... Я был совсѣм пьян. Я был богом...

Муж знал Тамару достаточно, чтобы понять, что всякіе разговоры послѣ ея письма кончены. Его управляющій пріѣхал раз в Приселье, чтобы привести с Тамарой какія-то дѣла ея в порядок, и на этом все кончилось — только гдѣ-то в глубинѣ отвратительных душных и пыльных консисторій приказныя крысы зашевелились вокруг бракоразводнаго дѣла. Тамара без всякаго колебанія взяла всю вину на себя — ни ее, ни меня это не смущало ни в малѣйшей степени...

Раз — был непогожій день начала сентября и в окна залпами хлестал буйный ливень — Тамара искала в моем рабочем столѣ какой-то альбом и вдруг вся потемнѣла и выпрямилась с башмачком в рукѣ.

— Это что значит? — сдавленным голосом проговорила она, вся темная, как грозовая туча. — Ты мог бы быть и... поопрятнѣе...

— Но увѣряю тебя, милая, тут нѣтъ ничего дурного... — сказал я и тут же начал рассказывать ей исторію хорошенькаго бошмачка.

И по мѣрѣ того, как я рассказывал, хорошенькое личико моей русалки согрѣвалось, яснѣло и, как зорька послѣ ненастной ночи, на нем

проступала взволнованная улыбка. И едва я кончил свой нескладный рассказ — мнѣ было тяжело, что я невольно ранил милую, — как бѣлыя, теплыя руки заперли меня в свое колдовское кольцо.

— А теперь я расскажу тебѣ, маленькій, случай из моей жизни... — сказала она, прижавшись головкой к моей груди. — Был раз крещенскій вечер. В нашем старом домѣ в Духовщинѣ всегда свято блюли старые обычаи. Я с дѣвушками стала гадать о суженом. Был звѣрскій холод и, выбѣжав в сад, я бросила свой башмачек чрез забор на дорогу и скорѣе побѣжала домой: мороз убивал. Моя дѣвушка, Харитина, одѣвшись, пошла искать башмачек, но он исчез. На утро мы возобновили поиски, но башмачка не было. И всѣ рѣшили, что это дурное предзнаменованіе... Но... но... — обнимая меня, зардѣлась она в прелестной улыбкѣ, — ты сам видишь, что вышло совсѣм не так уж плохо: мой башмачек привел-таки меня к тебѣ...

Я, смутный, наклонил голову. Она сразу поймала движеніе моей души.

— Да, да, ты прав!... — пролепетала она, вся прижимаясь ко мнѣ. — Да, да, могло бы быть и еще лучше!... Но зачѣм же ты тогда не остановился, уѣхал, не вернулся?!...

И на милых лѣсных глазах ея заблестѣли слезинки...

\* \* \*

Было солнечное майское утро. В радостно сіяющем небѣ трепетали и журчали живые крестики жаворонков. Мой тарантас вкатился в облакѣ пыли в широкую улицу бѣднаго татарскаго села. Край только что перенес тяжкій голод, кото-

рый унес безконечныя тысячи жертв, и ужасен был вид этого села с его раскрытыми кровлями — гнилая солома их пошла зимой на корм погибающему скоту, — с изможденными лицами населенія и с совершенно голыми ребятишками, которыя возились на дорогѣ в теплой пыли. Посреди нѣ села над одной из изб зловѣще трепетал красный флажок. Это была больница для тифозных: тиф и цынга косили крестьян тысячами. Но на верху остраго минарета мулла, как ни в чем не бывало, тянул: «ля илла иль Алла, Мохаммед резуль Алла...»

— Староста гулял? — обратился ко мнѣ с облучка свое скуластое лицо башкирин-ямщик.

— Гуляй староста!... — отвѣчал я.

Мы подѣхали к большой, менѣе других разоренной избѣ неподалеку от мечети. На звук колокольчика из избы вышел старый, степенный татарин в чалмѣ, который со свойственным мусульманам достоинством привѣтствовал меня.

— Саямалек, Файзулла... — тряхнул головой башкирин. — Вот гаспадин фатера нада...

Файзулла погладил бѣлую бороду.

— Фатера только у нас... — сказал он спокойно. — У нас ничего, кандала\*) нѣтъ, чиста... А другіе всѣ кончал, сталовый ашаты\*\*) хадил...

— Спасибо... — вылѣзая из тарантаса, сказал я. — Я не на долго...

Файзулла с башкирином внесли мои чемоданы в помѣстительную чистую горницу. Над нарами мѣстами какіе-то бѣлые билетики на стѣнах.

— Что это за бумажки? — спросил я Файзуллу.

— А у нас тут тифозный бальничка был... —

---

\*) Клопы.

\*\*) Ёсть.



сказал он. — На той недѣлѣ канчал... Крѣпко клеил на стѣну — бабы отодрать не можит...

Меня сперва охватила оторопь. Но я справился с собой: жив же Файзулла. Чему быть, тому не миновать — как написано в книгѣ Судеб, так и будет: мэктеб, как говорят арабы. И я рѣшил остаться.

Среди жен Файзуллы — зажиточные татары имѣют обыкновенно три-четыре жены, — началась озабоченная суета по приѣму гостя. Сперва при встрѣчѣ со мной онѣ старались или закрыть лицо, или отвернуться, но, как бы убѣдившись в моей доброкачественности, онѣ скоро оставили эти ужимки и стали даже улыбаться мнѣ своими черными зубами.

— А почему твои жены зубы красят?—спросил я старика. — Тебѣ, что ли, понравиться хотят?

— Нам все равно... — равнодушно отвѣчал он. — Ему нравится, вот и мажит... Баба, он глупый, ничего не понимает и все по своему вертит туда-сюда...

Мнѣ поставили самовар и сварили неизбежных кукай\*), при видѣ которых меня уже сводили судороги отвращенія: яйцами я питался вот уже нѣсколько нѣдель подряд, так как ничего другого достать было нельзя... Я приглядѣлся к моим хозяйкам. Меня всегда изумлял мир и покой мусульманской семьи: четыре жены — повѣситься, казалось бы, можно... Но у них все шло как по маслу. Но тут, в домѣ почтеннаго Файзуллы, я впервые подмѣтим трещину в этом мусульманском благополучіи. Двѣ из его жен были лѣтъ сорока, одна помоложе, а четвертая—ее звали Мансухой—и совсѣм молоденькая, может быть, лѣтъ двадцати. Роста выше средняго, сильная, стройная, с

---

\*) Яйца.

красивым правильным лицом и чудными гнѣвными глазами, она была обаятельна. Перенесенная за зиму страданія — голодали всѣ — одухотворили ея степную, дикую красоту. Мансуха не красила зубов, упорно не закрывала лица и между прекрасных глаз ея всегда, при встрѣчѣ со мной, набѣгала грозовая морщинка, которая очень ясно говорила, что не всегда дни моего новаго друга Файзуллы безоблачны и что вообще черти водятся преимущественно в глубоких омутѣх... Она была так обаятельна, что я, чтя законы гостепріимства, все отводил от нее глаза в сторону — не на долго.

Я старательно обслѣдовал разгромленный голодом край, но энергія моя падала с каждым днем: продовольствія от правительства было явно недостаточно — хотя на том берегу Волги пшеница подорожала только гривенник на пуд! — и смѣшны были эти первобытныя больнички в борьбѣ с повальной цынгой и тифом. И когда одна цынготная татарка, получив зеленое мыло для распухших ног и лимон для употребленія внутрь, лимоном натерла ноги, а мыло с удовольствіем сѣла, это было довольно безразлично: населенію нужна была не мазь, не порошки, а прежде всего хлѣб. Старый Файзулла по долгу службы всюду сопровождал меня и, когда нужно, служил переводчиком. А когда я, вымотанный и разстроенный всѣми этими ужасами погибающаго края, возвращался вечером домой, я видѣл прелестную Мансуху и меня изрѣдка обжигали гнѣвныя молніи ея прекрасных глаз. И скоро мнѣ стало мерещиться, что эти чудные, дикіе глаза заряжены не одним только гнѣвом, что в глубинѣ их временами зарождается что-то новое, теплое, ласковое...

И вот раз, когда мы с Файзуллой сидѣли в свѣтѣ догорающаго вечера над моими идиотскими бумагами, бомба вдруг взорвалась: вошла Мансу-



ха, блѣдная, рѣшительная и болѣе, чѣм когда-либо, прекрасная в грозовой красотѣ своей.

— Что пишешь? Зачим?... — страстно бросила она мнѣ.—У Махамеддина остался один авечка, у Ижбулды два курочка... Зачим?... Все адно, им памирать надо... На два курочка жить не можна... А ты вот пиши лучи: татарски закон—плахой закон!... Я...

Файзулла с достоинством поднялся.

— Гуляй-погуливай к себѣ, глупый женщина!... — сказал он спокойно. — Ты мѣшаишь гаспадин... Он от падишах \*) прислан, — приврал он для пущей важности. — Иди...

— Пушай он пишит падишах: татары все кончал... — подняла голос красавица. — А курочек считать нечего... И пушай он пишит падишах, что татарски закон — плахой закон... Вот он, старик, гонял стару жену и взял меня, маладой,—гдѣ порядок? А меня замучит, опять дѣвочка маладой возмет... Ах, ах, плахой татарски закон!... Так и пиши падишах, что Мансуха говорит: плахой татарски закон, совсѣм плахой!...

Она была прелестна. В моей уставшей, среди невѣроятных бѣдствій, душѣ яснѣе шевельнулось теплое чувство. До сих пор я любил мусульманскій мір, так выгодно отличавшійся от нашего православнаго пьянства и всяческой распущенности, но когда на прекрасных глазах Мансухи налились крупные жемчуга, я почувствовал, — такова шаткость суждений человѣческих!... — что я положительно становлюсь врагом Ислама. В самом дѣлѣ, развѣ не он стоит между нами глухой и холодной стѣной?!

Файзулла поднял голос, Мансуха не уступала и в изступленіи горя стрѣляла в его старое, мор-

---

\*) Царь,



щинистое лицо жесткими, огневыми словами, по-татарски, но теперь мнѣ переводчика было не нужно. За дверью сперва слышалось испуганное шушуканье, а потом в горницу вошли старшія жены Файзуллы. Обступив мятежницу, онѣ всячески уговаривали ее и мягко тѣснили вон. И страданіе, и любовь сразу проснулись в моей душѣ, когда Мансуха, вся в слезах, точно прощаясь, обратила ко мнѣ с порога свое милое лицо. Сколько безсильнаго гнѣва было в ея глазах, какая бездонная жалоба, какой трогательный призыв ко мнѣ, посланцу падишаха, какая вѣра в мою защиту!... И что-то еще, нѣжное, милое, свѣтлое... Но что же мог я сдѣлать против дѣйствительно отвратительнаго татарскаго закона?...

Несмотря на всю усталость, я не спал всю эту жаркую, безпокойную, свѣтлую іюньскую ночь. Моя „дѣятельность“ среди погибающих деревень окончательно показалась мнѣ отвратительной. Прелестная тѣнь заплаканной Мансухи не отходила от моего изголовья. Она права: если бы не плохой татарскій закон, в эту свѣтлую, кроткую ночь она была бы со мной...

Я задремал только на золотом разсвѣтѣ, когда с островерхаго минарета мулла унывно возвѣщал просыпавшейся землѣ, что нѣтъ Бога кромѣ Бога, а Магомет — пророк Его. Я был совершенно разбит и тотчас же начал сборы в путь. Файзулла пошел за лошадьми. Мой отѣзд был ему, видимо, пріятен. Когда его широкоплечая, немножко сутулая фигура в бѣлой чалмѣ прошла в золотом сіяніи утра мимо раскрытых окон, дверь вдруг скрипнула и на порогѣ встала блѣдная, исхудавшая Мансуха с синими тѣнями под глазами.

— Гулять туда-сюда опять хочишь? — глядя на меня исподлобья мученическими глазами, спросила она низким голосом.

— Да, надо ѣхать...

— А я?

Я пожал плечами и молча отвернулся к окнам. Душа болѣла. Но что же мог я сдѣлать? Задыхаясь в жалобных рыданіях, она повернулась к двери. Одно мое слово могло исправить все, осушить слезы, заставить ее смѣяться, как это радостное утро, но что мог я сказать?!... И послѣднее, что в моей памяти от этой встрѣчи в глухой степи осталось, было горестно склоненная головка дикой красавицы и ея прекрасныя, вздрагивающія от рыданій плечи...

И вот снова я один в безбрежной солнечной степи. В душѣ черная тоска, а в радостно сіяющем небѣ живые крестики журчащих жаворонков. И невольно в сіяющую глубину этого ласковаго неба поднялась из моей смятенной души мольба:

„Господи, да почему же мы такіе идіоты?... Почему старый дурак Маркс отнял у меня златокудрую Юлію, а старый Магомет—милую Мансуху? Почему всѣ эти вообще так называемые великіе люди разводят на землѣ такую тѣсноту? И почему среди воробьев нѣтъ великих воробьев и среди баранов нѣтъ великих баранов?... Низвергни их, Господи, в праведном гнѣвѣ Твоем в самые татарары, и дай нам свободно возвеселиться на Твоей благословенной, солнечной землѣ, и мы прославим имя Твое из вѣка в вѣк!...

И мнѣ казалось, что Господь в сіяющей глубинѣ неба слышит мою молитву и — одобряет ее... Жаль только, что до сих пор неисполнилось моленіе мое...

А пора бы, пора!...

\* \* \*

Свѣтлая ширь Волги...

Я очень устал от безконечных раз'ѣздов по



голодающему уфимскому краю и держался в сторонѣ от сытой и беззаботной пароходной жизни. Загорѣлый, обносившійся, обросшій бородой, я не привлекалъ вниманія моихъ спутниковъ да и самъ ими мало интересовался — кромѣ одной развѣ семьи, которая состояла из матери, пожилой уже дамы, веселаго бѣлокураго студента и двухъ дѣвушекъ. Старшая изъ нихъ была не красавица, но больше чѣмъ красавица: от нея глазъ нельзя было оторвать. Они что-то все шептались, о чем-то спорили, поглядывая в мою сторону, чему-то тихонько смѣялись. Мнѣ было неловко и я старался дѣлать вид, что я этого не замѣчаю. И вдругъ молодежь направилась ко мнѣ, немножко, видимо, стѣсненная, но улыбаясь. И старшая дѣвушка подошла ко мнѣ — она была блѣдна ровной, матовой блѣдностью, красиво выдѣлявшей ея дивные черные глаза, — и, немножко нахмурившись, сказала:

— Они подержали со мной пари, что я не подойду къ вамъ и не скажу...

— Нѣтъ, нѣтъ, не так!... — впереводъ воскликнули тѣ. — Безъ всякаго предисловія...

— Хорошо!... — нетерпѣливо перебила она ихъ и, снова обратившись ко мнѣ, сказала: — вы мнѣ нравитесь...

Я не зналъ, куда дѣваться от смущенія. Они тотчасъ же отошли — она, слегка хмурясь на себя за свою выходку, а ея спутники съ ласковыми ко мнѣ улыбками. А мое сердце запѣло: я былъ тогда такъ еще молод!... Но она держалась поодаль и лицо ея было строго...

И вдругъ она снова, уже одна, подошла ко мнѣ и, замѣтно волнуясь, строго проговорила:

— Только вы, пожалуйста, не подумайте чего-нибудь... дурного... Все это было, понятно, только шуткой...



— Помилуйте!... — мог я только пробормотать с поклоном.

И она совсѣм спряталась в свою каюту. Я мучился и не знал, что дѣлать: молодое сердце трепетно ждало счастья. Уже наступила ночь, а я все мѣрил палубу взад и вперед в надеждѣ хоть издали, хоть только раз один увидеть ее. Но ея не было... Только раз подмѣтил я вдруг, что в окнѣ одной каюты чуть пошевелилась занавѣска и в щелочку осторожно выглянул прекрасный черный глаз... Замѣтив, что я поймал его, он тотчас же пугливо спрятался за занавѣску... Я промучился всю ночь, а на утро мы прибыли в Нижній, они всѣ уѣхали на вокзал, а мнѣ надо было ѣхать Волгой на Ярославль: мы с пріятелями разводили там революцію...

Прошло нѣсколько недѣль, — не лѣт, нѣт, а недѣль!... — я весь был переполнен тоской по моей блѣдной чаровницѣ, я страдал. Но день проходил за днем и понемногу милый образ ея стал заволакиваться дымкой и грезы мои блѣднѣть... И вдруг — это было в Москвѣ — ѣду я куда-то в трамваѣ и в вагон входит моя красавица... Я весь так и загорѣлся... А она — повторяю, что с того дня прошло всего нѣсколько недѣль—она... даже не узнала меня! Не то, что сдѣлала вид, что не узнала, а не узнала дѣйствительно. Сердце мое помертвѣло и жизнь показалась отвратительной тюрьмой...

Гдѣ она теперь, милая дѣвушка, державшая меня в своей власти нѣсколько недѣль? Я не знаю... И если бы мнѣ кто сказал, что вот я могу найти ее там-то, — нѣт, я не пошел бы... Пусть от нея останется только эта грустная пѣсенка в душѣ, пусть не заслоняет ея поблекшаго, но милаго образа вид этой почтенной дамы, окруженной, вѣроятно, уже взрослыми внуками и со-

всѣм, вѣроятно, забывшей то, что было тогѣда на свѣтлѣ просторѣ вечерѣющей Волги...

\* \* \*

Кружась по Европѣ туда и сюда в поисках неизвѣстно чего, я снова нечаянно попал в Лозанну и, чтобы снова пережить сгорѣвшіе юные дни, остановился в том маленьком студенческом пансіончикѣ, в котором нѣкогда я „мыслил и страдал“. Златокудрая Юлія со своим французским коммунистом уже покоились в землѣ, прелестная Ревекка страшно погибла на Лысой Горѣ, студенчество все перемѣнилось — кромѣ вѣчно улыбающагося, но рѣшительно ни к чему неспособнаго еврейчика из Бѣлостока, который, тихо сѣдѣя, высиживал на каждом курсѣ по нѣсколько лѣтъ, за эти годы не выучился даже сносно говорить по-французски и точно насмѣх носил фамилію Клугман... Но пансіончик тихонько дышал попрежнему и хозяйки его встрѣтили меня бурными выраженіями восторга: моя вѣрность тронула их, а мои чемоданы из желтой кожи поднимали престиж их пансіончика в глазах сосѣдей. Их было три. Во-первых, сама, старица, которая сладостно, но с ужасающим швейцарским акцентом все вспоминала свой родной Интерлакен и любила послѣ обѣда, уложив ручки на животикѣ, пофилософствовать на тему о том, кто счастливѣе в мірѣ, она-ли, г-жа Х, владѣлица пансіона для г. г. студентов, или коза, которая, позванивая колокольчиком, пasetся среди благоуханных нарциссов в горах. По зрѣлому обсужденію дѣла, вопрос всегда разрѣшался в пользу козы... У нея было двѣ дочери: старшая, Ани, высохшая вдова офицера, с лошадиными зубами, которая имѣла несчастную привычку в хорошія минуты, подыгрывая себѣ на піанино, пѣть свой единственный, но очень чув-



ствительный романс „du Verlassene“, и — Марго. Марго была очаровательной пышечкой с темными кудрями, с ямочками, которыя вызывали судороги в губах, — так хотѣлось расцѣловать их — и прелестной улыбкой. В былыя времена она немножко кокетничала со мной, но тогда я был слишком занят Юліей и косматым Марксом. Среди их пансіонеров затесался тѣм временем один студент-румын, который стал за ней ухаживать, а потом сдѣлал предложеніе. Кончив курс своей науки, он уѣхал в свой Букарешти устраивать перед свадьбой свои дѣла и — как в воду канул. Нужно было имѣть интерлакенскую наивность Марго, чтобы надѣяться — не угодно ли: не только румын, но и еще адвокат вдобавок!... — на возвращеніе бѣглаго жениха, но она надѣялась твердо, со всей искренностью своей вѣрной швейцарской души. Вернувшись под скромный кров моих дам, я с удовольствіем замѣтил, как похорошѣла за эти годы Марго, и меня искренно польстило, как вспыхнули ея прелестные глазки, когда она увидала меня у дверей среди великолѣпія моих желтых чемоданов.

— Mais... mais... mais... — всплеснула она ручками. — Вот сюрприз!... Мама, Ани, скорѣе...

И я был торжественно водворен в самую лучшую комнату с видом на старый собор и даже с маленьким чугунным балкончиком, похожим на ласточкино гнѣздо... За обѣдом студенты всѣх стран, как и прежде, спрашивали хозяек *le tableau* или *la tableau*, *le lac* или *la lac*, и хозяйки дружно наставляли их на путь истинный. Но в этот день центром общаго вниманія был, конечно, я, а для меня центром была Марго с ея прелестными ямочками. Вѣра ея в сбѣжавшаго адвоката была непоколебима, но я все же подмѣтил в ней трещинку сомнѣнія и то едва уловимое безпокойство, ко-



торое придает такую пряность красотѣ женщины, впервые почувствовавшей, что года—уходят. Правда, ей едва ли было больше 24, но зернышко тайной горечи уже омрачало безмятежность ея интерлакенской души...

Вечером, послѣ обѣда, старуха, сложив ручки на животикѣ, пофилософствовала в гостиной сколько полагается о козѣ среди гор Интерлаке-на, потом Ани с чувством спѣла свою „Verlassene“, потом нѣмец из Лейпцига блестяще сыграл нѣ-сколько вещей Чайковского, а потом, когда этот фестиваль по случаю моего возвращенія кончился, мы разошлись по своим комнатам, огни потухли и на старом соборѣ сторож устало запѣл: *Qué les guets: il a sonné onze!*...

И милый образ Марго тревожил мой звѣзд-ный покой...

— Но развѣ можно торчать столько времени на балконѣ, Марго? — услышал я вдруг чрез раскрытое окно шопот Ани. — Ты еще схватишь *le rhume du cerveau*...

— Сейчас, сейчас...

И я услышал тихій вздох и шелест платья... И что-то подсказало мнѣ, что дѣвичьи мечты в этот вечер, занимал не один сбѣжавшій румыно-адвокат...

На слѣдующій вечер, когда всѣ, поболтав послѣ ужина, — *le ville* или *la ville*, мадам?— разошлись по своим комнатам, я выглянул в окно. Марго сидѣла на сосѣднем ласточкином гнѣздѣ и мечтательно смотрѣла на серебристое озеро и угрюмо-синюю Савойю.

— А-а, мечтаете!... — пошутил я. — Ну, да-вайте мечтать вмѣстѣ — но только не о вашем румынѣ...

Марго пугливо осмотрѣла сосѣднія ласточкины гнѣзда: никого не было. В свободнѣйшей в мірѣ демократической республикѣ человѣкъ, если он хотѣлъ дышать спокойно, должен был быть добровольным рабом своих сосѣдей... И мы вполголоса, почти шопотом стали болтать. Мы были и вмѣстѣ, — балкончики висѣли на разстояніи одного метра один от другого — и были в то же время очень успокоительно раздѣлены чугунной рѣшеткой. Это не могло не быть пріятным для близких Марго: с одной стороны, дѣвушкѣ, конечно, неприлично разговаривать с молодым человѣком ночью, с другой стороны мои чемоданы по качеству были куда выше жалкаго багажа сбѣжавшаго румына, а бѣдной Марго надо же было устраиваться... И нас оставили в покоѣ и этот вечер, и слѣдующій, и еще слѣдующій...

— Но дайте же на прощанье поцѣловать хоть вашу ручку!... — сказал я, когда Марго встала, чтобы идти спать.

— Mais je n'ose pas: je suis engagée...\*)

— Ах, бросьте эти глупости!... Никогда ваш румын не вернется...

— Но как можете вы говорить так?... Он дал слово...

— Ну, наплевать на него... Дайте вашу ручку... А то я не буду спать...

— Mais je n'ose pas!

Но на слѣдующій вечер Марго все-таки дала мнѣ ручку: она не хотѣла, чтобы их лучший пансіонер спал плохо... А потому на слѣдующій вечер я выразил намѣреніе перелѣзть на ея балкон, чтобы поцѣловать под звѣздами ея ямочки.

— Mais je suis engagée... — ужаснулась она.— Je n'ose pas...

— Не вернется ваш румын. На то он и румын...

---

\*) Но я не могу: я незѣста...

И скоро, нечаянно оставшись со мной вдвоем в гостиной, она дала мнѣ поцѣловать и свои ямочки... К стыду своему я должен признаться, что на этот раз я только играл в игру любви: настоящего чувства не было. Я был — мнѣ совѣстно, но это так, — жесток в этот странный період моей жизни. К счастью, это противное состояніе длилось у меня недолго и я не успѣл надѣлать никаких гадостей. Но Марго, бѣдняжка, была захвачена по-настоящему и ея румын таял, яко тает воск от лица огня. Она сама уже искала встрѣч наединѣ, а, устроив будто нечаянно такую встрѣчу, пугливо потупляла глазки и не рѣшалась даже поцѣловать меня.

— Je n'ose pas!... — лепетала она. — Je sins engagée...

И вдруг в Уши, в отель дю Шато, пріѣхала чаровница Тамара. Послѣ упорной борьбы с супругом по разводу — ему очень хотѣлось прикарманить часть ея недвижимостей, — она отдыхала на берегу свѣтлаго Лемана от пережитых бурь. В два счета она опять бросила меня к своим хорошеньким ножкам. В свободную минуту — а в них недостатка у меня не было, — я убѣгал в Уши и, если сам не переѣзжал туда, то только потому, что мнѣ не хотѣлось так, сразу озадачить моих бѣдных хозяек, хотя поиски разницы между le livre и la livre мнѣ осточертѣли чрезвычайно...

— Как, вы сегодня опять не обѣдаете дома? — поймав меня на лѣстницѣ, робко спросила похудѣвшая Марго.

— Нѣт, милая: я приглашен опять в отель дю Шато...

— И мы не будем болтать сегодня вечером на наших балконах?

— Я скажу вам маленькій секрет, Марго...—



тихо сказал я, весь охваченный, по выраженію Толстого, сумасшествіем эгоизма. — На этот раз *c'est moi qui suis engagé, c'est moi qui n'ose pas...*

— Но какой же вы злой!...

И, давась слезами, бѣдная дѣвочка убѣжала в коридор... А когда я поздно ночью вернулся, совсѣм пьяный Тамарой, домой, на балкончикѣ никого не было. „Слушай, стража: било полночь!...“ — пропѣл соборный сторож в звѣздной вышинѣ. Я бросился в постель, сейчас же уснул и всю ночь мнѣ слышались „райскіе напѣвы“:

Что жизни мелочные сны?

Что стон, что слезы бѣдной дѣвы

Для гостя дальней стороны?!

Хозяйки ходили вокруг меня с поджатыми губами, не подымая глаз. Было очень непріятно. Я собрался, наконец, в Рим с — Тамарой...

А потом я случайно узнал, что Марго, поставив, наконец, крест на своем румынѣ — в сущности, и я оказался перед бѣдняжкой румыном порядочным... — долго спустя, дѣвушкой-перестарком вышла замуж за солиднаго, с брюшком, нотариуса из Винтертура. Думаю, что таким образом „все образовалось“ к лучшему в этом лучшем из міров: если, как справедливо сказал поэт, в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань, то еще менѣе можно впрячь в эту телегу прямую и безхитростную душу из Интерлакена с нашей мятежной *âme slave*... Правда, эти знаменитыя *âmes slaves* и между собою живут частенько жизнью довольно, скажем, тревожной, — милые бранятся только клочья летят, как говорится... — но это дѣла, так сказать, домашнія...

Добродѣтель в концѣ концов все же в этой исторіи восторжествовала: в то время, как мы, как неприкаянные, болтаемся по всей землѣ туда и сюда, Марго со своим нотариусом и кучей ребят

безмятежно блаженствует под сѣнью своей смоковницы в Винтертурѣ...

\* \* \*

Это было в Вѣнѣ, в старой, блистательной, веселой Вѣнѣ, гдѣ пышно цвѣл, сверкая всѣми цвѣтами гвардіи, двор стараго Франца Іосифа, гдѣ по блестящим кафе пѣли несравненные вальсы Штрауса, гдѣ лихо плясали на Пратерѣ огневой чардаш плѣнительныя венгерки. Я остановился в одном большом пансіонѣ, недалеко от Вотив-Кирхѣ, в котором жила по преимуществу состоятельная университетская молодежь. Тогда маленьких столиков не было еще и в поминѣ и наш необозримый табль-д-от представлял из себя настоящую Лигу Націй, которая очень выгодно отличалась от отвратительнаго женевскаго вертепа тѣм, что мы не грабили астрономических окладов, не лгали, не кривлялись и что всѣм нам было очень весело, море по колена.

Хозяйка, разбитная вѣнка с бойкими глазами ввела меня в галдящую Лигу Націй и представила всѣм сразу.

— А в частности познакомитесь со всѣми постепенно... — прибавила она на своем вѣнском діалектѣ. — Мы живем тут без всяких церемоній. Мѣсто ваше за столом будет вот тут, рядом с мисс Блэнч С., доктором Нью-йоркскаго университета. Надѣюсь, вы будете довольны вашей сосѣдкой...

И она стрѣльнула по мнѣ лукавым взглядом.

Мисс Блэнч, как оказалось, говорила на всѣх европейских языках, но на всѣх по-американски. Даже по-англійски говорила она с тѣм мяуканьем,



которое сразу выдавало, что это дочь великой Заокеанской Демократіи. Но она была прелестна. Моим сосѣдом слѣва был молодой и молчаливый доктор из Оранжевой республики, настолько углубленный в себя, что я мог отдавать все свое вниманіе моей обаятельной сосѣдкѣ. Она сразу, просто рассказала мнѣ свою исторію на языкѣ, который очень напоминал тот саляд рюсс, с которым мы, русскіе, познакомились впервые только за границей, как и с многими другими вещами russes, существованія которых у себя в Россіи мы и не подозрѣвали. Оказалось, что моя очаровательная собесѣдница была единственной дочерью состоятельных и строгих пуритан, что она подняла знамя женской независимости — штука, которой я никогда не мог понять толком, — и кончила университет по медицинскому факультету.

— С моей лучшей подругой Кэт Хэпгуд у нас было рѣшено, — рассказывала она мнѣ, — что тотчас же по окончаніи экзаменов мы выѣдем с ней в кругосвѣтное путешествіе: она — на запад, а я — на восток с тѣм, чтобы в опредѣленный день встрѣтиться в „Ясной Полянѣ“...

— Well? — наострил я уши.

— И мы выѣхали... — продолжала прелестная заокеанская демократка. — И дѣйствительно, в назначенный день встрѣтились в „Ясной Полянѣ“ и сказали каунтесс, что мы хотѣли бы посмотреть на великаго Тольстои. Она приняла нас очень любезно и скоро вышел к нам и сам каунт. Мы рассказали ему о нашем предпріятіи. Он, нахмутив свои косматыя брови, молча слушал. И... —Блэнч нѣсколько замялась. — И...

— Well? — подбодрил я ее.

— Well... — подбодрилась она. — И каунт говорит вдруг нам сердито: „а развѣ ничего умнѣе этого вы придумать не могли?“ И, повернувшись



к нам без церемоніи спиной, он вышел. He is very funny, is n't he \*).

— Oh, yes, indeed... \*\*)

Здѣсь, в Вѣнѣ, Блэнч совершенствовалась в своем дѣлѣ у одного из видных оккулистов. Почему она избрала именно глаза, а не нос или пятки, я не понял. Чрез нѣсколько мѣсяцев она собиралась домой, в Нью-Йорк, чтобы открыть там глазную лѣчебницу. Все у нея было „Il right и пред моей прелестницей лежал ровный, как Пятое авеню, и свѣтлый путь в безмятежно-демократическое будущее...

— А вы?... — сказала она. — А вы что дѣлаете?

Этого я по совѣсти не знал. Я слонялся по Европѣ из конца в конец, слушал лекціи и рефераты, осматривал галлерей и музеи, переписывался с Толстым, Петром Крапоткиным, духоборами и самыми страшными французскими революціонерами, вродѣ Луизы Мишель, на предмет установленія на землѣ царствія Божія, любил, страдал, мечтал, писал, но больше всего во всем сомнѣвался. Раньше, до Блэнч, все это казалось мнѣ значительным, но теперь я вдруг почувствовал, что я порядочный лоботряс. Кто она? Доктор по глазным болѣзням, у которой скоро будет своя лѣчебница. Кто я? Никто. Противно!... Но тѣм не менѣе хорошенькая мисс любопытно наострила ушки: видимо, и я для нея был также funny, как и old fellow\*\*\*) из „Ясной сПоляны“. С перваго же завтрака мы запутались ней в какой-то нѣжной паутинѣ и все свободное время проводили вмѣстѣ. Поклонников у красавицы было не мало, но

---

\*) Правда, чудной старик.

\*\*) Конечно, большой чудака...

\*\*\*) Старикашка.

всѣхъ ихъ она держала в почтительномъ отдаленіи и я, понятно, блаженствовалъ. И только от одного меня приняла очаровательница приглашеніе сѣздить вмѣстѣ в оперу на „Онегина“.

В качествѣ *lines echten russischen Gutsbesitzerz\*)*, Онѣгин держал себя все время, даже на балу у Лариныхъ, грубо и буйно, а милая Татьяна в коротенькомъ сарафанѣ и кокошникѣ была самой высокопробной истеричкой, в сценѣ с письмомъ даже топнула на няню ножкой и с неподражаемымъ вѣнскимъ акцентомъ крикнула ей: *isch bin verli-bt!\*\*)* Я был ошеломленъ: вѣдь, Москва была всего в двухъ дняхъ ѣзды и Нибелунговъ ставили у насъ вполне грамотно!... Но Блэнч все одобряла настолько, что чрезъ нѣсколько дней сама захотѣла посмотрѣть со мной балетъ изъ русской жизни „Красный башмачекъ“. Снова на сценѣ появились *echte russische Gutsbesitzer\*\*\*)*, которые пьянствовали и безчинствовали невѣроятно. Затѣмъ ворвались вооруженные косами и серпами дикіе мужики и начали гутсбезитцеровъ рѣзать. Потомъ дѣло было в какомъ-то монастырѣ, куда к старцу-чудотворцу тысячами сходились всякіе недужные, а онъ исцѣлялъ ихъ: погладитъ горбатого по горбу, и тотъ сейчасъ же превращается в *einen echten russischen Maladetz\*\*\*\*)*, благословитъ безногаго, и тотъ готовъ хоть вприсядку. Я былъ удрученъ, а Блэнч сіяла. Но когда я, расчувствовавшись, чуть облокотился на ручку ея кресла, она строго выпрямилась. Она часто говорила своимъ обожателямъ: *hats off to the American girl!\*\*\*\*\*)*

Но неизбежное—неизбѣжно... Я сперва хо-

---

\*) Истинно-русскаго помѣщика.

\*\*) Я влюблена.

\*\*\*) Истинно-русскіе помѣщики.

\*\*\*\*) Истинно русскаго молодчинищу.

\*\*\*\*\*) Шапки долой передъ американской дѣвушкой.



тѣл остаться в Вѣнѣ только на недѣлю, чтобы на удивленіе Москвы заказать тут себѣ нѣсколь-ко костюмов, но костюмы были давно готовы, а я о Москвѣ и думать забыл. Раз я нахохлился что-то в гостиной над New Freie Presse. Вдруг дверь отворилась и гостиную осіяло: вошла Блэнч. Она была утомлена и блѣдна и прелестным движеніем отдала мнѣ обѣ руки:

— Oh, I am so tired!\*)

Я усадил ее в кресло. И она сказала:

— Very fine morning, is n't it? Правда, чудное утро?

— Oh, yes!... — сказал я и завладѣл ея бѣлой ручкой. — Мнѣ давно надо было бы уже ѣхать в Москву, но я... не могу...

— Почему? — спросила она невинно.

— А вы не догадываетесь?

Прелестная пуританка стала серьезна. Я, как в открытой книгѣ, читал на ея чистом дѣвичьем лбу то, что происходило в ея заокеанской душѣ: „Well, this âme slave is certainly very funny“...—думала она.—Но если он и дальше будет разводить с принс Крапоткофф и каунт Тольстои свой идеалистическій анархизм, то... нѣт, это very uncomfortable indeed...\*\*) И раз их Онѣгин способен безобразничать так на балу, кто знает, может быть, и мой теперешній flirt станет со временем таким же хулиганом. No, it is not pleasant!\*\*\*) Тогда как хорошо обставленная лѣчебница в Нью-Йоркѣ дѣло солидное. Правда, костюмы его сшиты у хорошаго портного, правда, он любит всѣх ougostchaty —значит, средства у него есть, — правда, я сама видѣла у него письма-автографы каунт Тольстои,

---

\*) Я так устала.

\*\*) Нѣт, это довольно неуютно.

\*\*\*) Радости в этом мало.



но... Боже мой, почему все это у них так туманно, так невѣрно, так похоже на мираж?!...“ И Блэнч сказала мнѣ:

— Раз вы должны ѣхать в Москву, то вы и должны ѣхать в Москву...

— Но я не хотѣл бы ѣхать... один... Может быть, вы...

— Но я уже видѣла вашу Москву... Конечно, интересно, но так грязно!..

— Может быть, вы захотѣли бы поѣхать туда... моей женой? — добрался я, наконец.

Она опустила свою хорошенькую головку. На прелестном лобикѣ снова зашевелились заокеанскія мысли. Уже одно то, что она не говорит „нѣтъ“, что она колеблется, окрыляло меня. Но я ошибся.

— Благодарю вас, но это совершенно невозможно... — сказала она. — Мнѣ будет трудно оставить и свою Америку, и моих добрых родителей, и мое дѣло... И вы всѣ к тому же так funny\*\*\*)... Нѣтъ, это невозможно...

Я и сам чувствовал, что с Великой Заокеанской Демократіей ужиться мнѣ будет трудно, но Блэнч была так обаятельна!... И на другой день, когда она была еще в клиникѣ, я с стѣсненным сердцем поѣхал на вокзал. С Ринга вдогонку мнѣ пѣл о счастьеѣ и ласкал обаятельный вальс Штрауса: *An der schönen blauen Donau*\*) . А чрез час, когда Блэнч, розовая и свѣжая, вышла к обѣду, мальчик из цвѣточного магазина поднес ей большую корзину цвѣтов — это было послѣднее прости ей от ея непонятнаго и безпокойнаго поклонника, странно мечтающаго о каком то идеалистическом анархизмѣ...

---

\*\*\*) Такіе чудачки..

\*) На голубом Дунаѣ.

Меня всегда удивляло, как маленькая бархатная маска дѣлает человѣка неузнаваемым: остается его фигура, остаются глаза, остается голос, остается вся манера держать себя, а прежній человѣкъ, знакомый, исчезает для меня в таких случаях настолько, что меня можно водить за нос часами...

В Ниццѣ пестро и пьяно гремѣлъ карнавал. Мнѣ всегда были очень противны эти вульгарныя удовольствія, но хочешь-не-хочешь, а не подчиняться буйствующей в городѣ стотысячной толпѣ было невозможно... Мнѣ нужно было пересѣчь длинную авеню де ля Гар — теперь она стала, понятно, авеню де ля Виктуарrrrr... — и я врѣзался в бѣшеный поток пляшущих масок. Музыки не было — был мѣдный рев труб и изступленное буханье барабанов. Не было и пляски — было бѣснованіе тысяч и тысяч одержимых. И над волнующимся морем всѣх этих Пьеро, магов, рыцарей, пастушек, домино, торреадоров, Мефистофелей, гризеток и пр., среди многоцвѣтной метели конфетти и шуршащей паутины серпантин,плыли, как в безобразном кошмарѣ, громадныя, аляповатыя карнавальные колесницы с гигантскими, пестро раскрашенными куклами, которыя имѣли претензію что-то там такое остроумно изображать. Прежде всего и послѣ все было тѣсно и гнусно и тошнило от толпы....

Но не все было гнусно. Наканунѣ ночью на пестром и шумном *veglione*\*) в оперѣ прозвучала вдруг яркая языческая нотка, которая опьянила на мгновеніе живым воскресеніем вѣков иных. Бал был в полном разгарѣ, когда в свою ложу вошла знаменитая красавица Ж., содержанка од-

---

\*) Костюмированный бал



ного лорда миллионера. Еще совсем недавно она была прачкой в порту, хохотала с матросами и „выражалась“ так, что только немногие могли выдержать эту марку. И вдруг ее увидал этот англичанин и чрез несколько дней красавица—она была, действительно, изумительно хороша, — оказалась в мраморном дворцѣ на набережной, ея туалеты сводили женщин с ума, а когда она появлялась гдѣ-нибудь на своей *four-in-hand*\*), останавливались всѣ. Воляпюк свой она однако не оставляла и ея лорд, слыша, как гвоздит его возлюбленная, хохотал всѣми своими золотыми зубами... И вот во время *veglione* Ж. вошла вдруг в свою ложу одна. На ней было какое-то фантастическое шелковое покрывало нѣжно-лиловаго цвѣта. Подойдя к низкому барьеру ложи, красавица сдѣлала неувловимое движеніе плечом, покрывало ея упало и предъ тысячной толпой, в блескѣ огней она предстала в одних только золотистых туфельках! И без того пьяная толпа восторженно взревѣла. А она с улыбкой стояла над бѣснующимся партером, бѣлая, как мрамор, и красота ея ослѣпляла...

И вспоминая ее среди бѣснованія толпы, я пробирался... куда мнѣ было надо. И вдруг из толпы ко мнѣ метнулась голубая фигурка, вся засыпанная конфетти и опутанная серпантинном.

— Наконец-то!... — с веселым смѣхом воскликнула она. — А я сколько времени уже жду тебя... Почему ты сегодня так запоздал?...

Я с улыбкой попытался прежде всего разгадать голубую загадку, но, как всегда, бесплодно.

— Что значит опоздал? — сказал я. — Куда опоздал?...

---

\*) Четверка цугом.



— Прежде всего не строй дурака, мой милый!... — засмѣялась она серебристо. — Ты опоздал к дамѣ твоего сердца, у которой ты должен быть, как всегда, к двум... Или, может быть, на этот раз ты побудешь немного со мной хотя бы для разнообразія?... Твоя вѣрность красавицѣ умиляет всю Ниццу до слез...

— Прежде всего оставь мою вѣрность красавицѣ, моя прелесть... — сказал я. — А если ты, дѣйствительно, хочешь, чтобы я повеселился с тобой, сними хоть на минутку твою маску... Я навѣрное знаю, что я тебя знаю, но кто ты, хоть убей, не знаю... Покажи мнѣ твое очаровательное личико...

— Рукам воли не давать!... — чуть отстраняясь, засмѣялась она. — Ну, рѣшай: останешься ты со мной или я должна проводить тебя, о, безсердечный, к ней?...

— Если ты снимешь маску, я останусь с тобой...

— Ни за что на свѣтѣ!...

— А тогда я иду... куда надо...

— Хорошо. Я провожу тебя, тиран сердца моего...

— Не болтай вздора: ты не знаешь, гдѣ она живет...

Она расхохоталась:

— Идем!...

И она свернула с бульвара Карабасель—дѣйствительно туда, куда было нужно.

— Я вижу, что ты, дѣйствительно, знаешь больше, чѣм нужно...

— Знаю, знаю все, о, злодѣй!... Знаю, тигр сердца моего...

Она так вся и искрилась и была очаровательна. Ея французскій язык был без сучка, без

задоринки: русскіе так не говорят. Ея серебрястый смѣх сладким ядом туманил душу. Она прижималась ко мнѣ, как мягкій, теплый котенок, и в глазах ея, прелестных, голубых, была бездна солнца и нѣжности — не ко мнѣ, а так, вообще, к жизни, к молодости, к радостным возможностям любви... Толпа была тут не так густа и безобразна и можно было дышать свободнѣе, хотя и тут иногда мы подвергались яростному обстрѣлу конфетти... Вездѣ виднѣлись парочки... Когда я опаздывал, Лили выходила иногда ко мнѣ навстрѣчу и я теперь боялся, как бы она не увидала меня с голубым чертенком. Она точно угадала мои мысли...

— Не безпокойся, о, крокодил души моей: я сейчас отстану... — сказала она. — Я совсѣм не хочу зла ни тебѣ, ни твоей *petite comtesse Lily*... Да! — комически вздохнула она. — Конечно, я с радостью похитила бы тебя у нея, но я знаю, что это безнадежно... Ай, смотри: она на балконѣ и смотрит на нас!... Прощай, о, вампир сердца моего...

И, просыпав серебро своего смѣха, она слегка оттолкнула меня. Кучка пестрых, шумных масок со смѣхом и воплями окружила нас и опутала серпантином. Моя красавица, смѣясь, разорвала эту многоцвѣтную паутину и убѣжала... Я поднялся к милой. Несмотря на всю мягкость ея свѣтлой, незлобивой души, грозы бывали и у нея, но на этот раз она встрѣтила меня своей дѣтской, обезоруживающей улыбкой, крѣпко ко мнѣ прижалась и спросила:

— А кто эта голубая, которая была с тобой?...

— Не знаю, милочка... Только что прилипла на улицѣ, как это всегда бывает на карнавалѣ...

В голубом чертенкѣ было un j'n'sais quoi,\*)

---

\*)Что-то.



что волновало, но доверчивая, теплая улыбка Лили сразу развѣяла ея чары. И своими тонкими пальчиками Лили тщательно обрала с меня прилипшія пестрыя конфетти и обрывки серпантина...

А когда я на другое утро сидѣл в своем редакторском кабинетѣ за просмотром всяких идиотских рукописей, в дверь легонько постучали.

— Да, да, войдите!... — разсѣянно отозвался я.

Вошла г-жа Э., жена моего секретаря, хорошенькая, голубоглазая блондинка...

— Извините, что я побеспокоила вас, г. главный редактор... — проговорила она. — Муж нездоров и просит вас извинить его на сегодня... В случаѣ надобности я могла бы замѣнить его на это утро...

— Нѣтъ, нѣтъ, ничего... — разсѣянно отвѣчал я, перебирая завалы рукописей. — Я справлюсь сам. Кланяйтесь ему...

Она метнула на меня насмѣшливым взглядом: хорошенькая женщина предлагает ему посидѣть с ним час, другой, а он... — ну, и невѣжа!... А меня вдруг осѣнило: вот он, мой голубой чертенок!... Но как же, черт возьми, мог я не узнать ее?!... Я вѣдь видѣл ее почти каждый день...

— Так это были вчера вы! — воскликнул я.

— Что значит: это были вы? — засмѣялась она. — Я не только была вчера, но есмь сегодня и надѣюсь быть и завтра, г. главный редактор...

— Перестаньте крутить... Вы были вчера очаровательны...

— Только вчера, г. главный редактор?... О, вы чрезвычайно любезны, г. главный редактор... — просыпала она свое серебро. — А сегодня я, повидимому, так потускнѣла, что вы не желаете даже на два часа имѣть меня своим секретарем,

г. главный редактор?... Или, может быть, мнѣ надо опять явиться в голубом, чтобы г. главный редактор был милостив к своей *obeissante servante*?)

— Наоборот, вы очаровательны и сегодня— поэтому-то я и не хочу имѣть вас своим секретарем даже на два часа...

— Новый рыцарскій жест, г. главный редактор? — бросила она мнѣ со смѣхом в лицо.— Не премину оповѣстить о нем всю Ниццу, которая, как ваша *humble servante*\*) уже докладывала вам, не осушает слез умиленія над вашими добродѣтелями... Имѣю честь пожелать вам всего хорошаго, г. главный редактор... *Votre humble servante!*...

Я проводил милаго чертенка улыбкой, в которой, увы, я почувствовал изюминку—сожалѣнія: было так жаль пройти мимо голубой жемчужинки, не подняв ее!... Если, правда, и был я рыцарем, то все же в настоящій момент—этого скрыть от себя я не мог... — в достаточной степени подмокшим...

\* \* \*

И это было в Ниццѣ. Я был молод, у меня были средства, а одѣвал меня сам мистер Уоддингтон — жаловаться на жизнь мнѣ не приходилось... Вскорѣ послѣ моего приѣзда на Лазурный Берег, на одном обѣдѣ я встрѣтился с *petite comtesse Lily*. Родом она была англичанка, но вышла замуж за итальянскаго графа с очень трескучим историческим именем. Граф, докушав свое послѣднее, начал подбираться к состоянію Лили, но наткнулся на очень рѣшительное сопротивленіе тещи. Он бросил Лили с ея маленькой Эдит и отплыл искать денег к другим берегам. Как раз

---

\*) Покорнѣйшій слуга.

в это время и встрѣтились мы. В жизни бывают такіе удары молніи: нас обоих сразу обожгло и вечером, в гостиной, Лили сѣла за рояль и запѣла старинный романс на слова В. Гюго:

Oh, reste sous nos cieux!  
Je serai douce et bonne  
Et je t'appellerai par le nom  
Que l'on te donne  
Dans le pays de tes aieux...\*)

И взгляд милых глаз досказал мнѣ остальное так, что у меня закружилась голова...

Началась лазурная сказка любви. Лили была чрезвычайно shy\*\*) и все ужасалась, что наша преступная связь может открыться. Постепенно я приучил ее к мысли, что нѣтъ в счастіѣ ничего постыднаго, и она стала открыто появляться со мной, все такая же ясная, тихая, милая...

Как всегда, я был вѣрен моей милой. Тут не долг говорил во мнѣ, а какое-то врожденное чувство опрятности: какая радость превращать жизнь в собачью свадьбу? Жизнь должна быть прекрасна! Но тѣм не менѣе я должен был поддерживать свои мужскія знакомства и изрѣдка мнѣ приходилось бывать на холостых ужинах с дамами. Это были куртизанки, в которых было много от греческой гетеры. Всѣ онѣ жили в достаткѣ, прекрасно одѣвались, часто были образованы и держали себя прекрасно. В особенности строга была

---

\*) О, останься под нашим небом..

Я буду добра и нѣжна  
И буду звать тебя именем,  
Которым зовут тебя  
В странѣ твоих отцов!...

\*\*) Стыдлива, робка.



Габріэль. Раз за ужином у нея богатый мексиканец синьор д-Арозарена позволил себѣ немножко вольный анекдот. Габріэль вся потемнѣла и потребовала, чтобы он извинился перед дамами, а когда он смущенно повиновался, красавица сказала:

— А теперь извольте выйти вон!

Мы всѣ, молодежь, являлись на эти ужины не иначе, как во фраках...

Веселое общество это посмѣивалось над моим „цѣломудріем“, — я держал себя с красавицами очень сдержанно — придумывало обо мнѣ всякіе смѣшные анекдоты, являло... Но раз в сумерки, в саду, Габріэль взяла меня под-руку и сказала:

— Не слушайте их... Не огорчайте мимолетными связями такое милое созданіе, как ваша *petite comtesse Lily*. Я часто встрѣчаю ее на *Promenade des Anglais* с ея очаровательной Эдит. Она, повидимому, слаба здоровьем и вам надо особенно беречь ее...

Мнѣ хотѣлось поцѣловать ея руку, но я этого не сдѣлал: все же куртизанка. И до сих пор не могу я без стыда вспомнить об этом.

Я помню первую встрѣчу с Габріэль. Я шел блистательными залами Монте-Карло. На рукѣ у меня висла и по обыкновенію ныла — она всегда о чем-нибудь ныла — златокудрая, курносая, вся в ямочках хохотушка Мишлин. На этот раз она ныла потому, что ей захотѣлось омара и непременно сейчас же... И в ослѣпительном сверканіи свѣта навстрѣчу нам показалась вдруг в сиреневопепельном вечернем платьѣ, с букетиком чайных роз у пояса, в этой своей золотистой коронѣ волос Габріэль. У меня просто дыханіе перехватило: до того она была прекрасна и как-то царственно-

достойна! Мишлин представила меня ей и вскорѣ мы пошли ужинать: омар не давал Мишлин покоя... С перваго же раза у нас с Габріэль завязалась та теплая дружба, которая так рѣдко бывает между красивой женщиной и молодым человеком. Покровителем ея был какой-то неаполитанскій дука, грузный, обвисшій и сонный. Ему было за семьдесят. Его положеніе обязывало его имѣть красивую содержанку, чтобы про него говорили: „а, как еще наш дука свѣж!...“ Не раз я дѣлал робкія попытки заглянуть в прошлое Габріэль, но она всегда тихонько останавливала мои порывы: „под могильную плиту не заглядывают“...

Весной мы всегда уѣзжали с Лили в Альпы, а осенью опять спускались на лазурный берег и я снова встрѣчался с Габріэль, прекрасной, тонкой и замѣчательно чистоплотной. Скрывать нечего: меня очень влекло к ней, я слышал отвѣтный зов, но со мной была Лили...

И вдруг Лили заболѣла. Я не знаю, что значила ея болѣзнь с необыкновенным латинским названіем, но понадобилось вмѣшательство хирурга. Ея брат был одним из извѣстнѣйших хирургов Лондона и мать рѣшила везти ее туда. Это был прекрасный предлог разлучить нас: старуху тяготила наша „незаконная“ связь. Операция не удалась: у Лили отнялись ноги. Я уже собирался ѣхать к ней, в ея маленькое имѣніе в Шотландіи, как вдруг оттуда пришло письмо в черной рамкѣ...

Я уѣхал надолго в Россію, а когда, надломленный, сумрачный, я вернулся среди сезона на Лазурный берег, на другое же утро на столѣ у себя в отелѣ я нашел сноп чайных роз, перевязанный сиренево-пепельной лентой. Я был очень тронут и в тот же вечер был на кокетливой виллочкѣ на подѣмѣ к Симіэ. Габріэль только молча про-



тянула мнѣ руки и на этот раз я нѣжно поцѣловал их одну за другой. И до сих пор не могу я забыть ея милаго, растроганнаго лица.

Дука незамѣтно исчез. Мужской компаніи у Габріэль больше не собиралось. Она жила бы совсѣм затворницей, если бы от времени до времени ее не посѣщали подруги: у нея хватило достаточно такта, чтобы перед ними двери не запирались. Бывала и вѣчно ноющая—это так шло к ней!...—курносая капризница и хохотушка Мишлин, и огневая, с большими золотыми кольцами в розовых ушках Кармен — это было ея прозвище, — и рыжая, красивая, рослая Магда, нѣмка с гнѣвным лицом валькирии, у которой в жизни была какая-то драма и которая очень пила... Раз какой-то наглый юнец, француз, играя словами, попробовал — было пустить в оборот ядовитую кличку для нея: *Larousse pour tous*\*)—Магда ожгла его такой пощечиной, что мальчишка и глаз близко больше показать не смѣл. И опять меня поражала и трогала в них эта удивительная *distinction*, это желаніе не опуститься. Каждая из них жила только с одним другом и я ни разу не слыхал об измѣнѣ в их средѣ...

Я Часто бывал у Габріэль, а потом и совсѣм почти не выходил от нея. В сумерки она часто играла мнѣ Чайковского и скандинавов, которые так шли к моим сумеречным настроеніям. А между нами уже нарастало, пугая, величайшее чудо жизни: Любовь... Мы молчали: слишком много страшнаго было между нами, чтобы рѣшиться говорить. Но солнечный потоп весны подымался, расцвѣтала в сердцах жажда жизни и счастья — над за-

---

\*) Так называется извѣстный энциклопедическій словарь. Вся соль в словѣ *Larousse*, которое значит также рыжая.



претной чертой мы молчали уже из послѣдних сил. И раз поздно вечером, океан огня прорвал вдруг всѣ преграды.

— Как было бы хорошо нам побывать вмѣстѣ в Таорминѣ!... — послѣ долгаго молчанія тихонько вздохнула она. — Вы так интересно рассказываете о Сициліи...

Я не мог говорить... Она вышла проводить меня до калитки и под спящими пальмами протянула мнѣ руки этим ей одной только свойственным жестом, нарядным и пѣвучим. Я взял их и — не мог отдать...

— Мы, кажется, слишком долго молчим, Габріэль... — тихо уронил я.

— Может быть... — просіяла она нѣжной улыбкой. — Говорите...

— Габи моя, я был бы так счастлив, если бы ты стала моей женой...

Она вся не задрожала, а затряслась. Лицо ея, на котором только что сіяла улыбка нѣжности, исказилось испугом.

— Мой милый мальчик... — склонилась она ко мнѣ и я почувствовал на руках и на головѣ ея слезы. — Милый мой мальчик... Ты прекрасен в безумствѣ своем! Ты вѣрен себѣ. Именно таким я тебя и полюбила... Но... если бы когда посмѣла согласиться на... это, я... погубила бы тебя... Нѣтъ, все, только не это!...

Я бурно зашумѣл молодой грозой: мнѣ казалось, что моя любовь все смоеет, все покроет. Тогда я не знал еще, что чѣм глубже, чѣм ярче любовь, тѣм невозможнѣе для нея взять такія препятствія, как прошлое Габи...

— Ну, хорошо, мой свѣтлый мальчик... — вся в слезах говорила она. — Давай подумаем до завтра... Хорошо, мой любимый?...

Я бурно шумѣл: мнѣ не о чем думать... И она сказала наконец:

— Но если ты так хочешь, что же могу я?...

— Так, значит, да, моя Габи?...

— Да... — вся в слезах застыдилась она.—И мы сейчас же уѣдем с тобой в твою Таормину...

Сумасшедшій огонь сразу охватил обоих...

— Нѣт, нѣт, милый... — тихонько прошептала она... — Только не здѣсь!... Завтра я приду к тебѣ, мой, или мы поѣдем куда-нибудь... Только не здѣсь...

Было больно, но я так понимал милую. Я покрывал бурными поцѣлуями ея лицо, плечи платье. О, как она хороша!...

Точно на крыльях я понесся домой. Как хороша жизнь!... Как хорош мір!... Как ласковы далекія звѣзды!... Я задремал только под утро. Легкій стук в дверь разбудил меня. Я накинул халат, пріоткрыл дверь: предо мной был мальчик из цвѣточного магазина, а в руках его прекрасный сноп чайных роз, перевязанный сиренево-пепельной лентой... Я дал ему золотой и зарылся лицом в росистыя розы... „Как она мила!... — подумал я. — Я вот не подумал порадовать ее так в первое утро нашей любви“... И вдруг точно злая черная пчелка ужалила меня в сердце. Я быстро одѣлся и бросился к Габріэль...

Двое рабочих уже заколачивали ставни ея виллочки, а от чугунных ворот по влажному песку четко рисовался слѣд колес...

Габріэль исчезла без слѣда. Только четыре года спустя, на охотѣ, на Кавказѣ, я нашел на почтѣ долго искавшую меня по свѣту открыточку с видом Таормины. На ней бисерным почерком стояло всего нѣсколько слов: „а вы не забыли еще вашей Габи“? И сердце тепло и печально отвѣтило в пустоту міра: „нѣт, милая Габи, не забыл, помню и — плачу“!...





Есть на Руси прелестный древлїй, языческій обычай Радуницы, когда весной всѣ, старый и малый, идут на только что обтаявшія могилки христосоваться со своими покойничками, окликать их, звать их возрадоваться весеннему солнышку. Эта моя книга — моя Радуница, только не весенняя, а осенняя, перед послѣдней разлукой. В ней окликаю я с грустью милыя тѣни мои и вмѣсто алых яичек кладу я на родныя могилки эти послѣдніе цвѣты воспоминаній. Я не хотѣл бы пропустить ни одной могилки — есть вѣдь такія, которыя едва различишь уже среди чертополоха забвенія. А если все-таки случится, что я забуду какую-нибудь, то, по примѣру древних греков, воздвигавших алтарь богам невѣдомым, в этих вот строчках моих я зажигаю тихій жертвенник милым тѣням моим уже забытым...

Галю я помню хорошо. Странно только, что воспоминанія о ней как-то не складываются в стройный и яркій аккорд. Страстная, но мучительная сказка эта вся пропитана запахом Волги — воды, смолы, дымка... — и полна немолчной стукотни пароходных колес. Это и было на Волгѣ, в старом Ярославлѣ, в тѣ грозовые, революціонные годы, когда в необ'ятной Россіи было так душно...

Воеводой сидѣлъ тогда там знаменитый потом фон Штюрмер. К нему иногда наѣзжал не менѣе знаменитый Іоанн Кронштадтскій. Тогда за блестящей каретой священника скакали, цокая копытами, вооруженные до зубов стражники. А мы, небольшая кучка интеллектюэлей, подняли знамя революціи в нашей скромной газеткѣ „Сѣверный Край“ и из этой бумажной цитадели били по врагу нашими статьями, которыя казались нам



очень страшными, но Штюрмер чертил их красным карадашом без всякого страха, и в хвост и в гриву. Ярославцы же тѣм временем собирались для „пренія“ рядом у стараго Ильи Пророка и, ревнуя о Господѣ, долго бились там со старообрядцами словесным боем о том, придет ли еще раз перед Страшным Судом Илья Пророк или не придет. . Я в „Сѣверном Краѣ“ отличался особой отвагой и ядовитостью и потому, когда я появлялся на пристанях или на борту какого-нибудь „Самолета“, в публикѣ слышался иногда шопот:

— Смотрите, это Н., — ну, тот самый, который вчера тарарахнул...

Но не Штюрмер со своими стражниками, а природный скептицизм оборвал эту мою молодую красную славу. Мои соратники упорствовали и это из нашего красного — или, может быть, лучше сказать розоваго — гнѣзда вышел потом милый кн. Дм. Ив. Шаховской, секретарь первой Государственной Думы, и тоже потом „прославившійся“ Гриша Алексинскій, который из носастаго студента ярославскаго демидовскаго лицея очень скоро стал в каком-то таинственном пресуществленіи представителем петербургских рабочих в Думѣ. И Ариадна Тыркова цвѣла среди нас в тѣ славные дни — я до сих пор помню ее на редакціонном диванѣ, помню пристальный взгляд ея тогда красивых, огневых глаз...

Вот там-то, в редакціи „Сѣв. Края“, на Духовской, и встрѣтился я впервые с Галей. Это была прелестная вологжанка, стройная, матово-блѣдная, с короной темных волос на хорошенькой головкѣ и милыми глазами. К сожалѣнію, она „тоже писала“ — пятна есть вѣдь и на солнцѣ. С первой же встрѣчи она опалила меня. Нѣсколько дней спустя она пришла ко мнѣ — я останавливался всегда у нашего редактора-изда-

теля милаго Э. Г. Фальк, ея родственника, — и принесла свою рукопись, чтобы я дал о ней свое авторитетное мнѣніе: мнѣ было уже лѣтъ двадцать шесть и потому, естественно, что мнѣніе мое иначе, как очень авторитетным, быть и не могло. Рукопись ея была перевязана хорошенькой лиловой ленточкой, а говорилось в ней, само собою разумѣется, о страданіях непонятой женщины, которая судьбой прикована к тупицѣ-мужу... Разумѣется, я в два счета пожелал взять на себя роль Персея, чтобы немедленно освободить прелестную Андромеду из когтей чудовища. Нужно добавить, что чудовище это было земским врачом и, что еще хуже, было оно вдвое старше своей очаровательной Андромеды...

Я запыхал самыми буйными огнями. Это было у меня правилом всю жизнь: если пылать, так уж непременно самым буйным образом. Андромеду опалило бѣшенством моей страсти, но положеніе ея осложнялось старой матерью и двумя малышами. Мы встрѣчались с ней то под кедрами Толгскаго монастыря, то в гостиницѣ „Царь-Град“, которая была тогда знаменита на весь верхній плес тѣм, что в ней не было клопов, то в уютной каютѣ какого-нибудь шустраго „Самолета“, то в очаровательном уголкѣ „Лучинское“, на берегу Волги, гдѣ жили наши общіе пріятель: кн. С. И. Шаховской со своей подругой Лидіей Владиміровной Л.. Лидія Владиміровна была литературной дамой, что-то все переводила, восхищалась Кнудом Гамсуном и поэтому очень покровительствовала нашей преступной любви.

Но преступная любовь все же налаживалась плохо: мы исходили в разговорах часто до разсвѣта, но Галя из-за дѣтей не рѣшалась уйти со мной в вольный, пестрый мір, по которому я ширял тогда сизым соколом, а я, понятно, не желал „состоять при“ земском чудовищѣ. Развод же в



тѣ времена был дѣлом настолько головоломным и грязным, что только немногіе рѣшались на это отвратительное дѣйство... И мы исходили в рѣчах до потери сил: я доказывал ей, понятно, ея „право на счастье“, а она не рѣшалась на героическій прыжок в Париж или Италію, куда я манил за собой бѣдняжку из ярославской духоты. Я думал тогда, что мѣщанская духота русскаго захолустья чѣм-то отличается от духоты парижской и всякой другой... Иногда в отчаяніи я уносился в Москву — тогда начинались письма в двадцать страниц, тревоги, телеграммы и я снова летѣл в Ярославль или Лучинское, чтобы мучиться с ней вмѣстѣ. Но словесный меч мой — а я-ли уж не был соловей!... — был безсилен разбить цѣпи моей Андромеды и она продолжала упорно висѣть на своей скалѣ, на улицѣ Духовской, над свѣтлою Волгой, среди мѣщан...

— Но, Галя, милая, солнышко мое, как же можно жить так?!... — изнемогал я, сидя с ней на берегу солнечной Волги. — Смотри: вон лѣнливо ползет на низ гонка лѣса — туда, куда влечет ее теченіе, безвольная, нелѣпая, тяжелая... А вон несется против теченія, куда хочет, „Самолет“, гордый и вольный... Неужели же можно колебаться в выборѣ, радость моя? Будем же „Самолетами“!...

Но мою прелестную сѣверяночку не убѣждало ни мое краснорѣчіе, ни поведеніе гордаго „Самолета“, ни даже возможность унести с проповѣдником любви и воли, — просят не смѣшивать с „Землей и волей“!... — который в своем сѣром англійском костюмѣ так рѣзко выдѣлялся среди самобытных ярославских чуюек... Так и осталась моя Галя на духовской скалѣ, с дѣтьми и старым мужем и, как я потом слышал, отравила и ему, и себѣ жизнь до дна... Головоломки жизни разрѣшенію не поддаются и в них всегда куда ни кинь, все клин, т. е. тупик...

В отчаяніи я унесся опять за-границу: заѣхал в Дрезден провѣрить свое впечатлѣніе от Сикстинской, посудил и порядил о новых теченіях в живописи на выставках в Мюнхенѣ и Парижѣ—тогда все это казалось в высшей степени важным — и закатился на лазурныя моря... Мір был тогда безбрежен, за плечами были крылья, а душа радостно пила всѣ обманы бытія...

\* \* \*

Среди женщин есть одна разновидность, которая вызывала во мнѣ всегда какую-то оторопь. Это тѣ женщины, которыя совершенно лишены священнаго огня великой богини *Venus Victris*. Замѣтив, что другія находят в любви что-то, им недоступное, онѣ иногда тревожно, пугливо спрашивают о тайнѣ, им недоступной, и, не в силах ее понять смущенныя и грустныя, умолкают. Мнѣ непонятна эта странная жестокость Рока, неизвѣстно за что отнявшаго у них эти вершины наслажденія...

Раз я заѣхал в Москвѣ к П., извѣстному меценату, музей котораго славился среди знатоков. Старик с любовью показывал мнѣ свои сокровища и, наконец, остановился перед портретом молодой женщины замѣчательной красоты в старомодном нарядѣ. Всего болѣе в этом прекрасном лицѣ, почти ликѣ, меня поразила безмятежность взгляда, какая-то особенная, надмірная ясность, а, может быть, просто отсутствіе души, отсутствіе того огня, который мраморную Галатею превращает в живую женщину...

— Замѣчательно!... — уронил я. — Кто это?

— Это моя невѣста и... мать... — тихо улыбнулся умный старик.

— Но... — с недоумѣніем посмотрѣл я на него.



— Как вы, вѣроятно, изволите знать, — сказал он, — я принадлежу к старому, именитому купечеству, которое до самаго послѣдняго времени старалось сохранить старый уклад жизни... Ну, вот... Я был очень молод и, вопреки всѣм нашим обычаям, я сам намѣтил себѣ невѣсту в нашем кругу. Это было уже дерзостью чрезвычайной: эти дѣла у нас дѣлались обыкновенно стариками. И вот, трепеща, я явился к своему нравному старику: так и так, папаша... Тот погремѣл сколько полагается по поводу дерзкаго нарушенія дѣдовских обычаев, но в концѣ концов смиростивился: „ладно, посмотрю, иди...“ В такія драмы матери стараются обыкновенно внести смягчающую нотку, но у меня матери не было: отец вдовѣлъ давно. Через нѣкоторое время, не торопясь, он поѣхал посмотрѣть мою избранницу. Возвращается, я трепеща вхожу узнать рѣшеніе судьбы и вижу: чернѣе тучи мой родитель... „Мальчишка!... щенок! — грянул вдруг гром. — Куда смѣл глаза поднять... Да развѣ этот товар по тебѣ, сопляку?!... Я сам же нюхую на ней“...

П. добродушно разсмѣялся: видно было, что это давным давно перегорѣло в нем.

— Ну?

— Ну, и женился... Так и стала моя невѣста мнѣ мачехой... Как партія, мой отец, понятно, был куда сильнѣе меня... Ея старики рѣшили: „быть по сему“, она сказала „да“ и всему конец... Вѣдь мы с ней и слова никогда не сказали, встрѣчались только в приходѣ за службами и говорили только глазами, да и то со страхом великим...

— И ваш батюшка был счастлив в бракѣ? — спросил я.

— Не знаю... — задумчиво сказал старик. — Не думаю... Уж очень она была... не знаю, как сказать... точно лишенная прав... Нѣтъ, не умѣю я разбираться в этих ваших тонкостях...

И мы продолжали осмотр его сокровищ...

И что замѣчательнѣе всего — такова иронія жизни!...—Рок судил, что и я сам отдал большую часть моей жизни такой полу-женщинѣ, такой Золушкѣ царства любви. Рама для поэмы была богатѣйшая: свѣтлыя дали Волги, синія и грозныя громады Кавказа, солнечный сон Крыма, причудливая вязь сѣверных шхер, а в рамѣ была и молодость, и доброта, и как будто пониманіе, но не было главнаго: искорки женщины. Ей Рок повелѣл почему-то быть только матерью — и она ею была до конца, подобная птицѣ гагѣ, которая выщипывает из груди своей пух, с болью, с кровью, чтобы выстлатъ им гнѣздо для птенцов своих. Она отдала им всю себя, а они, как только чуть окрѣпли крылья, улетѣли — как, впрочем, улетѣли в свое время и мои милыя тѣни...

Когда мы сошлись с ней, она сплела из своих сѣдых волос — а ей не было и 25—кольцо и дала его мнѣ:

— Смотри, береги его, а потеряешь — всему конец...

Когда я, устав от полуженщины, от полужизни, снова ушел, наконец, к женщинам, в один прекрасный день я замѣтил, что бѣлое кольцо из ея волос исчезло. Я понял: она догадалась, что я предпочел волосы живые, полные горячаго золота жизни, и, оскорбленная, тайно взяла свой дар обратно...

Но оскорбляться тут рѣшительно не на что: нѣтъ ничего силнѣе жизни и жалок смертный, который пытается противиться велѣніям Рока...

Впрочем, ей в этой книгѣ и дѣлать нечего, а почему, читатели узнают — если им это интересно — из моей замѣтки „Мое послѣднее сло-



во "..., которая будет помещена в моих материалах к автобиографии...

\* \* \*

Над безбрежной Россіей сгорали тревожные годы: неизбежная революція близилась. Под крѣпким напором молодого крестьянства старые господа жизни отступали под сѣнь исторіи. Помѣщичьи имѣнія распродавались, но часто среди распроданных земель оставалась непроданной опустѣвшая усадьба, которую у Крестьянскаго Банка можно было купить за гроши. И меня потянуло купить одно из таких опустѣвших дворянских гнѣзд...

Я был уже женат, но настолько еще молод, что носил в пользу народа длинную гриву. В груди же моей жили, ах, если бы только двѣ души! К сожалѣнію... впрочем, не-зачѣм лгать: нисколько я не сожалѣю, что на моей арфѣ было много струн. Я был и народником-революціонером, и созерцателем-скептиком, и пьяным жизнью язычником, для котораго женская улыбка стоила дороже всѣх революцій и философов, и сумрачным Экклезіастом, которому все представлялось тлѣным, и просто очень молодым человѣком, который смотрѣл в ярко-пеструю жизнь восторженными, замороженными глазами и наивно ждал от нея всего самаго необычайнаго...

Как-то по веснѣ я поѣхал посмотреть нѣсколько таких уголков и сразу же в сѣверном За-волжѣѣ попал в такія мѣста, что у меня дыханіе перехватило. Это было раньше огромное имѣніе князей М. Вся земля была уже раскуплена крестьянами и оставалась только полуразрушенная усадьба, десятин в 30, с гигантскими постройками: каменный скотный двор немногим развѣ уступал

своими размѣрами Колизею, главный дворец сгорѣлъ и из этих невѣроятных груд кирпича, казалось, можно было построить цѣлый уѣздный город. Теперешняя владѣлица усадьбы, пожилая, строгая княгиня, окруженная множеством старинных образов, с единственной дочерью жила в чрезвычайной нуждѣ в одном углу уцѣлѣвшаго, полуразрушеннаго флигеля, в котором было что-то комнат сорок. Говорили, что при крѣпостном правѣ тут помещался гарем стараго князя. Разваливалась и высокая крѣпостная стѣна с бойницами, которая окружала огромный, вѣковой, несказанной красоты парк. Я совершенно растерялся от красоты несравненной усадьбы и — княжны, блѣдной, стройной, строгой, с дивными черными косами и глазами, в которых странно смѣшивалась грусть уставшей уже расы с жаркими зовами счастья. Дѣвушка была полна, как и вся тогдашняя Россія, какой-то неясной, но глубокой тревогой и ожиданіем. Княгиня грустно звала ее Талочкой.

И над нами с первых же минут встрѣчи свершилось чудо — чудо всегда неожиданно, — и мы испугались той молніи, которая вдруг волею Великаго Непостижимаго опалила наши сердца...

На другое утро княжна повела меня показывать усадьбу-сказку. Я не знал, что дѣлать: если купить — просили смѣшные гроши, — то онѣ должны будут куда-то уѣхать, а если не покупать, то мнѣ тут нечего дѣлать... Гроза в наших душах нарастала, как огненный потоп. Чтобы выиграть время, опомниться, я сдѣлал вид, что земли при усадьбѣ для меня слишком мало, что я хотѣлъ бы прикупить ее немного у хуторян-сосѣдей... Мы говорили очень мало: мы были совсѣм растеряны. Завѣтное — и при данной обстановкѣ страшное слово — было сказано молча, а за ним была черная пропасть. И среди тучных



полей хуторян я тихо сказал ей, что у меня есть жена и ребенок, а она, вся побѣлѣвъ, сперва только сжала тонкими руками виски, а потом, глядя в сторону, глухо уронила, что у нея есть жених, пожилой князь-рюрикович, почти без всяких средств...

— Но главное, мама, мама, мама!... — растерянно проговорила она как бы сама с собой.

Больше слов у нас не было, как нѣтъ их у обреченнаго, котораго ведут на эшафот. Но разорвать цѣпи страсти не было уже сил. И сердце, молодое, глупое сердце под шелковый шелест цвѣтущей черемухи и гудѣнье пчел шептало, что счастье будет...

...Потемнѣл старый парк. Солнце скрылось за далекими лѣсами. Поднялась над затихшей землей полная луна и из серебристаго сумрака чуть выступили развалины стараго дворца на широкой луговинѣ. Большое озеро дремало среди камышей и пышных бѣлых лилій. Бѣлая статуя богини в полуразрушенной бесѣдкѣ на островкѣ слегка наклонилась вперед, точно желая видѣть свое отраженіе в водѣ: также ли хороша она, как и в былые годы?... Запѣл царь-музыкант, соловей... И Талочка пришла...

И с первым, долгим, без слов поцѣлуем ея еще страстнѣе залился соловей, жарче задышала ночь, волшебнѣе стала лунная земля. Весь охваченный сладкой мукой, я говорил Талочкѣ о своей любви и никак не мог высказать того, что во мнѣ было... О, если бы я был бог, из опаловых облаков заката я построил бы дворец для нея, я одѣл бы ее пурпуром зари, я заставил бы звѣзды пѣть серебряные гимны ей и среди громов и молній я говорил бы ей о том, как мучительно я люблю ее... Я положил бы к маленьким ножкам ея весь мір, а если бы и этого было мало, я создал бы

для нея другой мір, еще болѣе прекрасный... Для нея я забыл бы лазурныя бездны моих небес и, преклонив пред ней колѣна, я отдал бы ей всю мою мощь, всю славу, всю свободу, все безсмертіе... Ах, зачѣм так слабо слово человѣческое!...

В развалинах вдруг заорал и захохотал филин. Я поднял глаза. Прямо на меня из-за густого куста черемухи смотрѣл сатир и на каменном лицѣ его играла язвительная улыбка... Обнявшись, мы тихо пошли в глубь парка. Серебряная ночь вся пылала. И — зеленая бесѣдка скрыла нас и от старых великанов-деревьев, и от звѣзд. Лишь луна, пробившись сквозь листву, остановила луч на ея милой головкѣ: то луна благословляла ее на любовь...

Мы вышли из бесѣдки. Прямо в лицо мнѣ, освѣщенный луной, беззвучно хохотал сатир. Но торжествующая ночь уже стеклянѣла: подходил разсвѣт. Между деревьев-великанов полосами пополз нѣжный туман — точно, прощаясь с ночью, то повели свои холодные хороводы русалки...

— Милый, пора... — проговорила тихо Талочка и на милых глазах ея чуть заискрились слезы.

Стоя около старато сатира, мы сжимали один другого в судорогах отчаянія, шептали сумасшедшія обѣщанія, полныя горечи и огня, и никак не могли один от другого оторваться. А туман уже зазолотился...

Талочка ушла. Луна, усталая, спускалась за далекіе лѣса. Робко загоралась зорька. Богиня все также грустила на своем островкѣ, точно ее не радовало рожденіе новаго дня. В самом дѣлѣ, много она видѣла этих новых дней!... В зазолотившемся сумракѣ над заросшей дорожкой сіял смѣющійся сатир...

...Я потерял Талочку. Я долго, глубоко и мучительно болѣл о ней втихомолку, но счастье не



похоже на весну: оно не вернулось... Потом, годы спустя, судьба снова закинула меня в тѣ края. С мучительно бьющимся сердцем я заглянул в старую усадьбу. Она, совсѣм уже обезлюдѣвшая, тихо умирала среди солнечнаго покоя вѣкового парка. Заросшими дорожками я тихо вышел на берег озера, в котором погибла Талочка. Оттолкнув во имя долга любовь, мы оба ошиблись невѣроятно, но поправить ошибку было уже невозможно... А вот и та бесѣдка... Вот...

Предо мной в густой, пахучей травѣ валялись осколки стараго сатира. Я быстро нагнулся и подобрал их — словно это были останки дорогого Друга... И я торопливо ушел: было невыносимо...

Мнѣ удалось потом возстановить голову сатира. Он стал над моим рабочим столом, с ядовитой улыбкой наблюдая над моими трудами. Мы оба любили наш сумеречный покой, не вѣря уже ни лукавому лепету весны, ни колдовским звѣздам, ни соловьям: мы знали уже, что счастье...

Нѣт! Философствовать о счастьѣ можно только тогда, когда счастья нѣт, а когда оно вдруг придет, вся философія летит кувырком, забыты не только всѣ сатиры, но и всѣ печальныя урны позади и, ничего не желая помнить, душа с восторгом бросается в огневой океан... Меня давно уже поразила мысль Дж. Рескина о том, что Іуда был хорошій человек: он только раз предал Іисуса и удавился, а мы предаем свои кумиры то и дѣло и — безстыдно живем дальше... чтобы снова поклоняться и снова предавать, без конца!...

\* \* \*

Я вышел из душнаго вагона подышать немного степным весенним воздухом.

— Купите фіалочек, барин!...

Предо мной оборванная, грязная дѣвчурка с цѣлой тарелкой фіалок. Глаза ея, похожіе на какіе-то веселые весенніе цвѣточки, смотрят на меня так простительно—робко, а на личикѣ — прелестная улыбка.

— Сколько же тебѣ за них?

— По копеечкѣ за букетик...

Я взял десять маленьких душистых букетиков и так задушевно улыбнулась мнѣ маленькая дѣвочка...

Второй звонок... Я вошел в вагон и не знал, что мнѣ дѣлать с фіалками... И вдруг, смотрю, узким коридором плавно поплывшаго вагона идет навстрѣчу мнѣ молоденькая сестра в бѣлой косынкѣ, с ярко красным крестом на груди. И по хорошенькому личику ея, по всей тонкой и стройной фигуркѣ, по кокетливому наряду сразу видно, что не стольких она там, на фронтѣ, перевязала и спасла, скольких переранила этими прелестными, теплыми, как весеннее небо, глазами...

— Разрѣшите, сестрица, предложить вам фіалок...

Дѣвушка вспыхнула нѣжной зорькой, приняла цвѣты и, чтобы не рассыпать их, прижала их к красному кресту на молодой груди... И смотрѣла на меня со смущенной улыбкой: ей хотѣлось видѣть в этих цвѣтах дань своей молодости и красотѣ, но мое усталое лицо и уже брызнувшая на висках сѣдина, видимо, смущали ее: ей, может быть, казалось, что я уже утратил право на поклоненіе женщинѣ и красотѣ!... И я смотрѣл на хорошенькое, смущенно улыбающееся личико и слушал, как в груди моей пѣли осеннія пѣсни...

А за окном вагона, дымясь испареніями, разстилалась безпредѣльная степь, весело грѣло яркое солнышко, звенѣли жаворонки и тонкій аро-



мат фіалок в руках дѣвушки говорил о глубоком-глубоком, свѣтлом и безбрежном, как степь, весеннем счастьѣ...

\* \* \*

На зазеленѣвшейся насыпи стоит молоденькая казачка. Стройное тѣло ея скрыто под пестрым деревенским нарядом. Черные волосы обрамляют прекрасный овал лица. Смѣются ея алыя губы и прекрасные черные глаза. Не видя никого из нас в отдѣльности — курьерскій идет полным ходом, — она, смѣясь, машет нам зеленой вѣткой и в одно мгновеніе исчезает из глаз навсегда...

Не я заставлю забиться это молодое, полное весенней жизни сердце, не для меня засіяют любовью звѣзды этих прекрасных глаз, не для меня эта молодость и красота и жажда счастья—не для меня, не для меня, не для меня!...

Ну, что же? Пусть для другого... Развѣ от этого жизнь будет менѣе прекрасна? Развѣ не так же радостна будет весной зеленая степь?... Да, конечно, но все же в сердцѣ моем вдруг, как осенній вѣтер, запѣла грусть...

\* \* \*

Люди, большею частью, говорят слишком много и от этого часто проистекают большія бѣдствія. Но иногда они не высказывают того, что нужно, и это влечет за собой тоже большія страданія...

...Вот и еще заросшая могилка на кладбищѣ моего сердца. Из нея на мой зов поднимается милая тѣнь худенькой дѣвушки с чудными сѣрыми глазами, очень строго смотрящими в мір с блѣднаго миловиднаго личика. Это было в тѣ смѣшные

годы, когда мы с Толстым пламенно спасали мір, погрязшій в грѣхѣ, от ужасной гибели: вот мы напишем еще двѣ-три статейки построже, и все будет в порядкѣ и на землѣ засіяет свѣтлое царствіе Божіе, в котором не будет ни раб, ни свободъ, ни эллин, ни іудей, но всяческая и пр., и пр. Теперь я думаю, что дьявол положительно лишен чувства юмора: на его мѣстѣ я непременно поймал бы таких спасителей міра на словѣ и на блюдѣ преподнес бы им их царствіе Божіе — пожалуйте!... Что царствіе Божіе это взорвалось бы от великой тоски по неравенству, по страданію, по грѣху, по кровопролитію, по женщинѣ, по пожарам, по измѣнѣ и пр., в этом нѣтъ никакого сомнѣнія, — даже очень маленькій человѣчек в развлеченіях своих очень требователен, — весь вопрос в том, сколько времени вытерпѣли бы люди зеленую скуку этой неудачной выдумки: три дня, недѣлю или, может быть, если построже прикрикнуть, даже мѣсяц?... Сам Толстой под конец очень чувствовал, что у нас с ним выходит что-то не так: „нѣтъ, нѣтъ, что-то как будто в христіанствѣ не то“..., говорил он, а потом прочтет в Евангеліи какую-нибудь особенно свѣтлую страничку и опять за старое: „нѣтъ, а все же это хорошо...“ А потом опять сомнѣваться, милый старик, ребенок и великан... Я, весьма наивный, тоже очень шумѣл тогда в трудах по устроенію царствія небеснаго на землѣ и много глаз смотрѣли на меня с надеждой: этот молодчинище непременно перевернет все вверх тормашками!... И среди этих выжидающих глаз были и строгіе, сѣрые глаза Вѣры III, курсистки и, понятно, реформаторши. Она не выражала мнѣ никаких знаков подданничества, но всей своей худенькой, строгой фигуркой как бы говорила: посмотри, посмотрим!...

Я не помню, как и гдѣ встрѣтил я ее впервые, но надо полагать, что это было в сѣрых и



скучных кругах неблагополучно толстовствовавшѣго тогда „Посредника“, который усердно разводил в мѣръ благочестіе, вегетаріанство, единый налог по Г. Джорджу и — скуку невыносимую. Сердце тихонько отмѣтило появленіе этой скромной звѣздочки на моем небосклонѣ, но у меня была уже маленькая семья и я прошел мимо Вѣры — не без сожалѣнія... Потом, долгое время спустя, прѣхав с Кавказа в Москву, я снова случайно встрѣтил ее. Не найдя примѣненія своим научным силам, она служила кассиршей в вегетаріанской столовой, куда я, не желая „питаться трупами“, зашел пообѣдать: я был тогда звѣрским вегетаріанцем и готов был растерзать всякаго, кто проливал кровь бѣдных животных... И опять сердце не только отмѣтило тихонько эти суровые, сѣрые глаза, но и почувствовало, что в строгой глубинѣ их таится — зов... За внѣшностью весталки у Вѣры, как это часто бывает, таилась горячая вакханка, которую весталка, начитавшись Толстого, удерживала из всѣх сил...

Вѣрѣ нездоровилось, жила она одиноко и тяжело и я, сам боясь себя и в то же время не желая потерять ее, — я всегда хотѣл всѣх милых мнѣ держать около себя, сколь коих ни было бы... — я пригласил ее пожить у меня на солнечном хуторкѣ, на берегу Чернаго моря. Она согласилась и скоро купалась уже в сѣдых, напоенных солнцем морских валах на моем „Черноморѣ“, тоненькая, блѣдная, еще болѣе строгая, чѣм прежде, потому что между нами непобѣдимо нарастало то солнечное влеченіе, которому покорно все живое... И вдруг в Геленджик прѣехала какая-то знакомая Вѣрѣ старица.

— Разрѣшите мнѣ сѣздить повидаться с ней, И. Ф., — сказала мнѣ Вѣра. — Это очень близкій мнѣ человек...

Мір сразу потемнѣл для меня. Ревновать женщину можно не только к мужчинѣ, но и к старицѣ, и к божьей коровкѣ, и к тѣни облака. Кто этого не понимает, тот не знает, что такое любовь, слѣпая, все исключаящая, единственно настоящая.

— Нѣтъ, это... неудобно... — захолодав, сказал я.

Она настаивала, я упирался — может быть, и глупо, и жестоко, но с точки зрѣнія неумянаго сердца вполне логично: Великая, Единая, Недѣлимая — вот единственный правильный лозунг любви. Может быть, если бы я пріоткрыл строгой весталкѣ эту логику сердца, она вся сгорѣла бы от безмѣрной радости, но я был вѣдь апостолом „новой жизни“, над нами незримо бдѣл дѣдушка Толстой — как же мог я признаться в таком грѣхопадѣніи?!

— Но, И. Ф., милый, я прошу вас... — низким голосом проговорила она, взяв меня за руку. — Только на один день... Ну, милый...

— Нѣтъ... — взволнованный ея жестокостью (она хочет, она может покинуть меня на цѣлый день!...), сурово отвѣчал я. — Это невозможно...

— А тогда... — вдруг потемнѣла она вся, — а тогда я уѣзжаю от вас совсѣм...

— Как вам угодно...

Вѣра уѣхала в Геленджик, а потом поселилась по-сосѣдству, в извѣстной тогда земледѣльческой коммунѣ „Криница“, гдѣ, тоже устанавливая царствіе Божіе на землѣ, нѣсколько фантазеров терзались, как в адском огнѣ, в нищетѣ и неугасимых сварах. Мы избѣгали с ней встрѣч. Мы не могли ни простить один другому, ни измѣны — это измѣной и было, — ни сказать вслух завѣтное, но страшное слово: это было бы катастрофой непоправимой, крушеніем того царствія



Божія, которое „стоит уже у дверей“, как увѣ-  
рял нас дѣдушка Толстой. Но раз я пошел  
зачѣм-то в „Криницу“ и у их кооперативной лавки  
— продажа селедок по дешевой цѣнѣ в глазах ин-  
теллигенціи до сих пор представляется одним из  
путей в царство справедливости... — наткнулся на  
Вѣру: „опростившаяся“, загорѣлая, поздоровѣвшая,  
в бѣлом платочкѣ на русой головкѣ, босиком, она  
возвращалась с работы, сидя боком на широкой  
спинѣ тяжелаго першерона. Мы поздоровались и,  
бѣгая глазами по сторонам, — мы боялись, что  
они скажут больше, чѣм слѣдовало... — загово-  
рили о пустяках. Царство Божіе повисло на паутин-  
кѣ, но проклятая гордость сдѣлала эту паутинку  
стальным канатом и скоро першерон унес от ме-  
ня мою загорѣлую, босоногую фею... Встрѣчались  
мы с ней и потом, но выдержали искус и прине-  
сли наши бунтующія сердца в жертву свѣтлому  
царствію Божію, которое вот-вот, стоит только  
написать еще двѣ-три обличительных статейки по-  
сердитѣе, засіяет над грѣшной землей...

Кровавый потоп поглотил и мою строгую  
весталку с сѣрыми глазами. Должно быть, мы с  
Толстым были не очень противны Господу в на-  
ших горячих усиліях поправить Его неудачное дѣ-  
ло: Он не дал нам возможности установить Его  
царствіе на землѣ. Скверная задача эта выпала по-  
том на долю тупого Ленина, который выкупал че-  
ловѣчество в крови до отказа, установил в Россіи  
еще горшій, чѣм прежде, ад и под грохот чекист-  
ских залпов ушел гнить в свой дурацкій мавзо-  
лей... Вѣроятно, и моя весталочка задыхается гдѣ-  
нибудь в пресвѣтлом социалистическом раю, гдѣ  
ѣдят не каждый день, да и то всякую дрянь, и гдѣ  
человѣк на человѣка смотрит — человѣком. О,  
если бы он смотрѣлъ волком!...

Может быть, когда-нибудь эти странички по

падут тебѣ, Вѣра, и ты, узнавъ, какими ослами были мы с тобой на солнечном берегу, уронишь из твоих строгих глаз слезинку на них. Не сердись, милая, на меня: я не могу отказать себѣ в удовольствіи быть умным хотя бы и нѣсколько поздно...

\* \* \*

Жалок тот, кто видит любовь только в обладаніи: он подобен человѣку, который, начав пѣсню, остановился бы на одной нотѣ и тянул бы ее без конца. Любовь — симфонія. И очень часто один взгляд милых глаз рождает цѣлыя россыпи ярких переживаній и оставляет память на всю жизнь.

Раз, проѣзжая куда-то в Финляндіи, я случайно остановился в Выборгѣ. Был Іюнь. Стояли тѣ бѣлыя ночи, которыя сперва, с непривычки, могут свести с ума своей тоской, но которыя потом, войдя во вкус, не промѣняешь ни на какія бархатныя, засыпанныя алмазами ночи юга, ни на ликующій, весь в потопѣ солнца и цвѣтах, майскій день... Вкусно пообѣдав, — в Финляндіи покушать любят и умѣют, — я был в затрудненіи: куда дѣваться в незнакомом городѣ цѣлый долгій вечер? И вдруг откуда-то донеслись до меня звуки мечтательнаго вальса.

— Что это? — спросил я лакея.

— Это концерт в городском саду... — отвѣчал он.

— И долго он продолжается?...

— О, да, за полночь...

Оркестр был хорош и меня потянуло послушать музыку. Городской сад был недалеко, на берегу моря. Выборг был уже погружен в то блаженное состояніе полусна, которое так свойствен-



но бѣлым ночам. На свѣтлом, точно замороженном взморьѣ недвижно спали черныя теперь, как уголь, суда. Я тихо — иначе нельзя было ходить в этом заколдованном царствѣ—вошел в красивый парк и сѣл. Меня поразила публика: никто не разгуливал, не смѣялся, не разговаривал, не шумѣл—всѣ сидѣли неподвижно, точно заколдованные, и молча слушали сладкіе звуки. И оркестр выбирал подходящія к мѣсту и времени пьесы: нельзя было на заколдованном взморьѣ бѣлою ночью прогремѣть „Полетом валкирій“, напрімѣр, или грянуть увертюрой „Руслана“...

И так тихо таяли одна за другой восхитительныя минуты...

И вдруг в свѣтлом, неподвижном царствѣ этом я увидѣл прямо перед собой на скамьѣ молодую прекрасную женщину, которая, как замороженная, слушала музыку. Она была в свѣтлом платьѣ, а на плечах ея, по тогдашней модѣ, была большая красивая шаль цвѣта *fraise écrasée*—женщины, воистину, неистощимы в этой игрѣ цвѣтами и оттѣнками. Не нужно было долгих наблюденій, чтобы сказать с полной увѣренностью, что к числу „ночных бабочек“ моя незнакомка не принадлежала — это была явно женщина из культурнаго и состоятельнаго круга... Наши глаза встрѣтились и не сразу оторвались одни от других и —встрѣтились опять. И опять... Сердце чуть шевельнулось... Во взглядѣ женщины скрыты всякія возможности и часто сказочныя богатства... А музыка пѣла, баюкала, навѣвала смутные и сладкіе сны... И глаза наши встрѣтились опять, уже смѣлѣе, и — не покидали почти одни других...

Я не знал, кто она, финка, шведка, русская, иностранка, — о ту пору в Финляндію пріѣзжало не мало англичан для *fishing*\*) — замужняя или

---

\*) Уженія.

вдова, не знал даже, есть ли у нас общій язык, чтобы сказать один другому „добрый вечер“, не знал ничего, как не знала ничего обо мнѣ она, и вот тѣм не менѣе глаза наши ласкали одни другіе среди заколдованной тишины бѣлой ночи, и цѣловали, и без слов говорили сердцам, что мы могли бы быть счастливы вмѣстѣ. Да мы и были уже счастливы. Мы уже знали, что нашу встрѣчу мы не забудем, что эта тихая, бѣлая ночь жемчужиной красоты несказанной уже вплетена в вѣнец нашего бытія... Никто вокруг нас не шевелился в блаженном оцѣпененіи, и спали на серебристо-свѣтлом взморьѣ черныя, как уголь, суда, и не мерцали звѣзды — вся жизнь стала сладким сном, от котораго не хочется проснуться... И только алый цвѣтъ ея шали рдѣл в серебристой мглѣ волшебной ночи, и ласкали, и цѣловались глаза...

На разсвѣтѣ, когда над свѣтлым, исполненным дивнаго покоя морем зарумянились уже облака, мы нѣжно, грустно поцѣловавшись глазами в послѣдній раз, разошлись навсегда и я долго смотрѣл, как в отдаленіи на набережной тихо таяло прелестное пятно цвѣта *fraise écrasée*. И это было все. И тѣм не менѣе с тѣх пор прошло болѣе четверти вѣка, а я помню эту встрѣчу... А ты, милая, помнишь ли ее, эту ночь без движенія, ночь исполненія всѣх желаній, когда знаменитое „остановись, мгновенье...“ было на концѣ языка и, если не хотѣло сходить с него, то только потому, что это было совсѣм не нужно, что это только нарушило бы свѣтлый покой колдовской ночи?...

\* \* \*

Есть у нас, во Владимірѣ, старый, основанный вѣка тому назад Княгинин монастырь, над рѣчкою Почайной, имя которой так ясно напоми-



нает суздальцам о старой родинѣ их, Руси кievской... В старом соборѣ монастыря хранятся мощи св. Авраамія, к ракъ святителя тянулись со всѣх сторон тысячи богомольцев...

В началѣ революціи я очень полюбил ходить в Княгинин монастырь: так хорошо было отдохнуть под его старыми сводами, в обстановкѣ старой Руси, от всего этого газетнаго и митинговаго вранья, от кумачевых флагов, от грязи и развала всей жизни. Старый почитатель Ренана и Толстого, я не могу сказать, что я вдруг со страху увѣровал, но было так сладко слушать в тихом мерцаніи свѣчей и лампад чудное пѣніе дѣвичьяго хора, внимать проникновенным, часто красивым молитвам, сладка была эта подчеркнутая революціей тишина обители, и дым кадильный, и строгія женскія фигуры в черных мантиях... Но всего слаще было видѣть сестру Елену, стройную, гибкую, прекрасную, милый голос которой так нарядно и тепло звучал в прекрасном хорѣ...

Мать игуменія замѣтила мое усердіе в посѣщеніях старой обители и смиренно отмѣчала свое удовольствіе по поводу этого. Она была, как и моя мать, из крестьянок с Черкутина, родины знаменитаго Сперанскаго, и это еще болѣе сближало нас. В началѣ службы она всегда осторожно косила своим строгим глазом назад и, если видѣла, что я уже пришел, шептала нѣсколько слов своей тоненькой келейницѣ и та, низко склонившись перед матушкой игуменьей, торопливо тащила мнѣ под ноги маленькій коврик.

А я с моего коврика молился — сестрѣ Еленѣ. Никаких угрызений совѣсти по поводу этого моего окаянства ни тогда, ни теперь я не чувствую: если мы еще можем без большого нетерпѣнія тянуть лямку нашей жизни, то только благодаря щедро разбросанным по всей жизни таким

жемчужинкам красоты. Такой несомнѣнной жемчужинкой была и красавица сестра. Я не знал о ней рѣшительно ничего и даже самое имя ея я узнал совершенно случайно: я пил чай с пирогами у игуменѣи в воскресенье послѣ поздней и нам, вмѣсто заболѣвшей келейницы, прислуживала Елена...

Дьявол силен, — жизнь непобѣдима, каким-то чутьем, Елена угадала о моих восторженных моленіях ей и иногда из-за черных мантий и клобуков хора меня на мгновение обжигали ея голубыя молніи — обожгут и тотчас же спрячутся за завѣсы спущенных стрѣльчатых рѣсниц. И мало того, что языческія моленія эти были замѣчены Еленой — я скоро подмѣтил, что онѣ были не непріятны ей. Раз на моем обычном мѣстѣ за креслом игуменѣи стала какая-то купеческая семья, а я не без нѣкотораго умысла стал с правой стороны храма. Я был счастлив увидѣть, как голубые, вешніе глаза не раз украдкой нетерпѣливо обѣжали молящихся и, вдруг увидав меня, радостно вспыхнули. Но в ту же минуту Елена спохватилась и опустила не только кружевныя завѣсы рѣсниц, но и милую головку свою в черной бархатной скуфеечкѣ... Поймавъ на полетѣ милую тайну дѣвичьей души, я возликовал в тихой радости. Между нами были бездны ея обѣтов и всяких других земных уз, но кто жил так, как я, смѣло и свободно, очень хорошо знает, что нѣтъ в жизни бездн, чрез которыя нельзя было бы перекинуть золотого моста радости...

Революція нарастала в ярости и безсмыслицѣ. Наростал животный ужас перед тѣм, что может надѣлать человѣкъ, сын Божій. Общественная жизнь разваливалась, как гнүющій труп. Молящихся в старом монастырѣ становилось все меньше и меньше. И раз мать игуменія послѣ службы



«отозвала меня в сторону и со слезами на глазах трясущимися синими губами проговорила:

— У меня к вам великая просьба. У нас нѣтъ больше вина для св. причастія. Всѣ наши моленія об этом встрѣчают только грубый смѣх и издѣвательства новых властителей. Может быть, вы могли бы похлопотать, достать хоть немного вина?... Иначе нам будет нельзя совершать божественную литургію...

— Я сдѣлаю все, что смогу, матушка... — сказал я.

Она низко, со слезами поклонилась мнѣ:

— Спаси вас, Господи...

Я тотчас же начал хлопоты, но сразу же наткнулся на стѣну бессмысленной жестокости. Я тайно послал своего человѣка в Москву на поиски, а в воскресенье пошел, как всегда, молиться свѣтлой красотѣ Елены, жемчужинкѣ, упавшей на нашу бѣдную землю с парчевой ризы Господней. Она была блѣдна, печальна и не подымала глаз. Я понял, что я, как мальчишка, тѣшил себя игрушками...

Но вот среди богослуженія она пошла вдруг с одной старой монахиней по очень рѣдким уже рядам молящихся за сбором пожертвованій. Тѣ, вздыхая, клали дрянныя, грязныя ассигнаціи революціи, на которых были выписаны огромныя цифры, но которыя не стоили, в сущности, ничего. Не доходя до меня, Елена подняла вдруг прямо в лицо мнѣ свои дивныя, голубыя, чистыя глаза, в которых было и сомнѣніе, и страх, и огромный вопрос: да правда ли то, что случилось?... Милую мучили тѣ же сомнѣнія, что и меня!... В моем взглядѣ она могла прочесть только одно: безмѣрное обожаніе, печаль, что она от меня так далека, и страх за нее, так как красная буря свирѣлѣла все больше и больше.... Она испуганно

опустила рѣсницы — поняла!... — и так шла среди жалких богомольцев, собирая дрянные, грязные бумажки с огромными цифрами, все ближе и ближе ко мнѣ. Я затаился: неужели эта мимолетная близость не даст ничего?!... И вот она совсем близко. Тепло взволнован милый, ангельскій лик. Рѣсницы опущены на чуть порозовѣвшія щечки. И когда я положил ей на блюдо свое приношеніе, она низко склонилась предо мной, выпрямилась и — опущенныя рѣсницы ея вдруг тихонько затрепетали... И это тихое трепетаніе рѣсниц было сильнѣе всяких слов: им она молча сказала мнѣ то заветное маленькое слово, которое волшебнымъ открываетъ врата царствія небеснаго еще на землѣ...

В тот же день огромная красная волна революціи обрушилась и на старую обитель: пьяная орда с красными звѣздами на смятых фуражках пріѣхала вскрыть мощи св. Авраамія, обличить всенародно „вѣковой обман“. Народ суздальскій взволнованно залил старый монастырь. Не снимая картузов, с папиросками в зубах большевики развязно вошли в старый храм и немедленно приступили к дѣлу: они вскрыли тяжелую серебряную раку и, смѣясь, показали всѣм, что в ней лежат только клочки истлѣвшей одежды да желтыя кости. Наивные ребята эти еще не предчувствовали того дня, когда среди Москвы будут выставлены так же мощи св. Ленина, препарированныя специалистами из Берлина и ловко подкрашенные на удивленіе всего возставшаго народа...

Узнав о налетѣ, я бросился в монастырь. И вдруг мнѣ навстрѣчу грянул торжествующій красный звон, как на Пасхѣ. В толпах народных—восторг и великое ликование.

— Что там случилось? — крикнул я под рев колоколов старому Ѳомичу, ночному сторожу.



Тот, обливаясь слезами, радостно крестился.

— Чудо-то, чудо-то какое!... — шамкал он.  
— Господи, радость-то какая...

— Да в чем дѣло, старик?

— Ну, пріѣхали эти подлецы на своих антомобилях в монастырь, — вытирая радостныя слезы, говорил Өомич, — и сичас же за мощи ухватились... Открыли это раку-то...—голос его опять стал пресѣкаться и слезы обильнѣе полились по морщинистым щекам, — и вдруг... и вдруг... чудо Господне на глазах у всѣх свершилось: св. мощи ушли на глазах у всѣх на двѣсти верст в глыбѣ земли, а под табашныя морды Господь собачьи кости подсунул: на, подавись, окаянные!... И—и, как народ возрадовался!... Сичас же которые на колокольню бросились и — слышишь звон?! Ровно вот в Свѣтлый день... Слава Тебѣ, Господи, показавшему нам свѣт...

Я бросился в монастырь: что с Еленой?... Но у врат два вихрастых парня преградили мнѣ дорогу ржавыми винтовками: пропуск, товарищ!... Я отошел в сторону, но покинуть бѣлых стѣн монастыря — из-за них неслись грубые крики и смѣх большевиков — я не мог. Сердце обливалося кровью...

Земля зазолотилась уже вечерним свѣтом, когда вдруг за стѣнами послышался громкій плач женщин и ругательства большевиков. Еще немного и из ворот монастыря показалось шествіе: окруженные красноармейцами, нестройной толпой вышли бѣдныя монахини во главѣ со своей старой игуменьей. Лицо старухи было изуродовано огромным кровоподтеком и из-под сбившагося на-бок жлобука виднѣлись короткіе сѣдые волосы. Рядом с ней шла с бѣлым от гнѣва личиком ея тоненькая келейница, а сзади, среди перепуганных монахинь, блѣдная, прелестная Елена. Она не видѣла

ни меня, ни чего бы то ни было другого: она смотрѣла в вечерѣющее небо, как бы ожидая от него чуда. Солнце ударило в лицо монахиням и залило их закатным свѣтом. И вдруг Елена своим милым голосом запѣла мой любимый вечерній гимн: „Свѣте тихій святыя славы...“ И сразу, в воодушевленіи необыкновенном, подхватил хор черныхъ женщин: „Отца небеснаго, святого, блаженнаго...“ Красноармейцы отвѣтили диким свистом и улюлюканьем, но рѣдкіе прохожіе—все попряталось — снимали шапки... „Пришедше на запад солнца, видѣвше свѣт вечерній, поем...“ Я не мог оторвать глаз от любимой...

Но вот и Рождественскій монастырь: тут помѣщалось чека. Еще нѣсколько мгновений и монахини с торжественным пѣніем скрылись за тяжелыми воротами...

Несмотря на всѣ мои усилія, я не мог отыскать ни малѣйшаго слѣда Елены: кровавый потоп сразу поглотил ее — навсегда... И, когда теперь изрѣдка, встает предо мной эта милая тѣнь с ея дивными, испуганно спрашивающими меня глазами, с этими ея трепещущими рѣсницами, в душѣ моей сам собой начинает звучать вечерній гимн: „Свѣте тихій святыя славы...“ Я вижу опять эти тяжелыя, чугунныя ворота, которыя с ржавым визгом медленно-медленно закрываются за ней, и я из всѣх сил стискиваю кулаки и зубы, чтобы удержать мучительный стон...

\* \* \*

Необ'ятная Москва дремала под осенним солнцем. Тихой, прекрасной сказкой стоял над сонной рѣкой старый Кремль. Деревья одѣли уже парчевые, засыпанные янтарями наряды осени. Вокруг кипѣла жаркою кровью революція, но тут, на све-



рѣ, вокруг огромнаго храма Христа Спасителя, среди янтарно-огненных настурцій, было тихо и сонно и, грузный, еще сидѣлъ на своем чугунном тронѣ чугунный самодержец всея Руси Александр III. Воробы откровенно презирали красные флаги, еще трепавшіеся там и сям, но с таким же легкомысліем садились и на корону царя. Голуби ворковали по карнизам. И над всѣм этим, в ясном бирюзовом небѣ сіялъ, как гигантскій янтарь, необ'ятный купол храма...

Я ждал ее. Вокруг нас бродила смерть, то и дѣло выхватывая из наших смущенных рядов свои окоченевшія от ужаса жертвы, будто бы, очень повинныя пред „народом“, но — цвѣты цвѣтут и под бурями. И, может быть, даже ярче, краше, благоуханнѣе — раненое растеніе всегда цвѣтет пышнѣе, точно торопясь возрадоваться под солнцем послѣднею радостью...

Я ходил по солнечно-пустынному скверу, среди кроваво-янтарных настурцій, надо мной горѣлъ в небѣ гигантскій янтарь купола, а в блаженно-безпокойном сердцѣ сами собой складывались стихи:

Я ждал ее — часами мнѣ казались минуты,  
Пришла она — минутами казались мнѣ часы...

И чудо превращенія часов в минуты свершилось мгновенно: в концѣ сквера, среди янтарнаго потопа солнца, вдруг появилась стройная, пѣвучая дѣвичья фигура, вся в бѣлом. Колдунья знала, что бѣлое дѣлает ее еще всемогущей. Душа сразу залилась ликующим красным звоном, как в свѣтлый праздник. И я вдруг впервые замѣтил удивительную красоту янтарных глаз. Говорят, что такіе „желтые“ глаза некрасивы вообще — это говорят глупцы. Некрасивыми могут быть и голубые глаза,

и черные, и сѣрые, и зеленые, и всякіе, но эти два живых янтаря, напоенные солнцем, радостью жизни, любовью и дерзким смѣхом, пред которым смущались даже чекисты, были изумительны. И то, что они слегка, чуть-чуть косили, было нестерпимо в своем обаяніи. В одно мгновеніе вселенная стала для меня вся янтарной, и была свѣтло-янтарной моя душа, и золотыми янтарями падали из прекрасных уст ея слова...

— Извини, что я запоздала немного...— сказала она, не выпуская моей руки. — Я поджидала Ефима с желѣзной дороги. Он привез картофеля, немного муки и курицу. Мука дошла уже до 800 пуд, а картофель наполовину гнилой...

— Я говорил тебѣ, что нам надо переѣхать в Малороссію... — сказал я. — Там всего вволю...

— Ты знаешь, что мама ходит каждый день на могилу папа. Это ея единственное утѣшеніе...

Ея отец, извѣстный профессор-либерал, был в качествѣ врага народа разстрѣлян. И именно с этого дня Катя подняла свою золотистую головку особенно высоко, и дерзки стали ея янтарные глаза и смѣлое слово ея жгло, как яд. И я стал особенно бояться за нее...

— А это что? — показывала она мнѣ в отвѣт на мои страхи маленькую ампулку с бѣлой адамовой головой. — И у мамы, и у брата есть такіе же... Хочешь, достану и тебѣ?...

— Нѣтъ, я предпочитаю браунинг...

Взявшись подруку — от этого в мірѣ стало сразу теплѣе и уютнѣе — мы медленно пошли сквером вокруг огромнаго храма. Над нами празднично пылал в небѣ гигантскій янтарь купола и пряный запах огненно-янтарных настурцій тихо пьянил души мечтой о несбыточном: о радостной любви, о волѣ свѣтлой, о голубых далях... Но го-



ворить об этом среди кроваво-красных флагов было слишком больно...

— Надя достала — представь себѣ! — цѣлых два фунта сахарнаго песку... — мягко прижимаясь ко мнѣ, говорила Катя. — Ах, до чего надоѣл этот отвратительный сахарин!... Найденовы ухитрились провезти с юга цѣлых полпуда сахарнаго песку, но негодяи подмѣшали в него толченой извести и все пришлось выбросить...

— Когда стемнѣет, я принесу тебѣ сегодня полфунта настоящаго кофе, — сказал я — и коробку чернослива... И сегодня же мы закопаем у вас в садикѣ брилліанты, которые остались мнѣ послѣ матери. Если меня возьмут, тебѣ...

Она опять с улыбкой показала мнѣ ампулку с бѣлой адамовой головой...

— Понятно, мы сдѣлаем все, чтобы спастись, — сказала она, — но мы каждую минуту должны говорить себѣ, что мы внѣ их власти... Я знаю это твердо и потому я чувствую себя совершенно спокойной и свободной...

Я промолчал. Я понимал, что это слова утѣшители. Я знал, что моя ненаглядная плачет цѣлыя ночи от тревоги за близких... А свобода — Боже мой, Боже мой, вѣдь над нами был безбрежный океан бирюзоваго неба, вокруг в пышной роскоши разстилалась осенняя янтарно-кроваво-золотая земля, но мы были в оковах голода, холода и безпросвѣтнаго насилія!...

— Может быть... — послѣ долгаго молчанія сказал я. — Но я так хотѣл бы все же вырвать тебя, пока не поздно, из этого ада и умчать в дилекіе края. Отступленіе позорно, но бороться с ними их же оружіем, т. е. пулей и веревкой, я не могу... Уговори маму. Чрез Финляндію еще можно пробраться в Швецію, а там весь мір открыт для нас...

Навстрѣчу нам, переговариваясь грубыми голосами, шло трое молодцов с подбритыми затылками, в кожаных куртках, с желтыми портфелями подмышками, новые владыки, едва ли лучше прежних. Они пристально и подозрительно осмотрѣли нас своими заплывшими от пьянства глазами и о чем-то пошептались. Сердце сжалось в судорогъ ужаса. Бросив осторожный взгляд назад, я увидѣл, что двое исчезли, а третій, прячась осторожно слѣдил за нами из-за угла... Я похолодѣл и невольно крѣпче сжал теплую руку Кати.

— Не тревожься!...—сказала она тепло.—Мы внѣ их власти...

А вокруг благоухали кроваво-огненно-янтарные настурціи, тихо в золотѣ и багрянцѣ дремали деревья, а вверху, в бирюзовом небѣ, как какая-то огромная радость, рдѣл гигантскій янтарь купола...

Пузырек с адамовой головой не спас мою Катю: она не успѣла, отняли... И она прошла всей Голговой женщины в красном раю. Я боялся даже вспоминать о ней... И вот вдруг нѣсколько лѣтъ спустя в Парижѣ, осенью, когда вся земля была, как один огромный янтарь, я зашел ночью в один из кабаков Монпарнаса: там пропивал послѣдніе гроши один извѣстный писатель и надо было вытащить его. Вой джаза, пьяные голоса, вонь мерзкаго стада человѣческаго... И вдруг одна из женщин, совсѣм пьяная, вскочила из-за столика и закричала на весь кабак:

— Кто хочет ко мнѣ?... [Пятьдесят франков за всю ночь!...

Пьяная орда смущенно молчала — даже этой сволочи стало вдруг страшно...

— Никто за 50 не хочет?... — крикнула та. — Ну, так, даром идите...

Это была Катя... Я бросился к ней. Через ми-



нута она в истерикѣ билась на грязном полу среди окурков и плевков, визжала и рвала свои прекрасные золотые волосы...

...Нѣтъ, больше не могу!... Не надо... Да, впрочем, конец и не долгов: чрез три дня пара клячсонно тянула гроб Кати на убогое кладбище предмѣстья. Вдоль улиц почетной стражей стояли янтарно-золотыя деревья, но за гробом шел только один, уже постѣдѣвшій человек... Газеты не замѣтили этих похорон — онѣ были чрезвычайно заняты Женовой, гдѣ какой-то из спасителей міра только что громыхнул замѣчательной рѣчью о братствѣ народов...

\* \* \*

Вмѣстѣ с молодой женой прямо из-заграницы я попал на милые берега тихаго Псла, в Полтавщину. И вот вдруг там, среди бѣлых мазанок и стройных тополей, на пути моем неожиданно-негаданно встала стройная фигурка в пышно-расшитой рубашкѣ и вѣнкѣ из красных маков, Маруся. Она жадно пила каждое мое слово, — я был тогда уже извѣстным среди молодежи писателем и знал рѣшительно все, — она не сводила с меня своих карих мягких хохлацких очей и ея нѣжность, как прелестный барвинок, незамѣтно опутывала мою душу все больше и больше. Я скоро не без страха почувствовал, что и мое сердце потянулось на ея призыв. Из всѣх сил я взял себя в руки и все-таки звал ее в тиши звѣздных ночей над спящим Пслом, когда „в степу“ били перепела...

Но, должно быть, я все же чѣм-то выдал себя. Раз была грозовая лѣтняя ночь. Спать было невозможно. И вдруг в тишинѣ, вздрагивающей от надвигающихся молній, я услышал робкій голос жены:

— Ты не спишь?

— Нѣтъ! — отвѣчал я.

Она помолчала и еще болѣе робко вдруг спросила:

— А... о чем ты теперь думаешь?

Я сразу понял ея тревогу: она подозрѣвала, что я думаю о стройной и жаркой колдуньѣ... Надо было разом вырвать из ея сердца отравляющія подозрѣнія.

— Я догадываюсь, что ты хочешь сказать... — сказал я сурово. — Но единственным отвѣтом моим может быть только одно: это очень глупо...

Она повѣрила, успокоилась и скоро заснула. А я, я до зари, с душой в слезах, прощался с Марусей...

Вскорѣ мы уѣхали из милой Полтавщины со всѣм и образ стройной хохлушечки потихоньку умер в моей душѣ. Иногда до меня долетали слухи о ней: жизнь бѣдняжки сложилась далеко не счастливо...

Прошло много лѣтъ. Бѣлая армія на Кубани доживала свои послѣдніе дни. Новороссійск котлом кипѣл. И вдруг из толп голодных, израненных, вшивых людей выплыл предо мной призрак былого: Маруся. От прежних чар ея не осталось и слѣда. Испуганная, увядшая, она робко просила меня помочь и ей уѣхать за-границу. Я сейчас же начал хлопоты о паспортѣ для нея. И вдруг неожиданный приказ нам: спѣшно грузиться на отходящій пароход. Я перевез свою семью на борт. У Маруси бумаги были еще не готовы. Я, имѣвшій нѣкоторое вліяніе в главном командованіи, сдѣлал все, чтобы обезпечить ей от'ѣзд со слѣдующим пароходом. Она пришла проводить нас, испуганная, поблекшая, печальная. И послѣ второго свистка, когда на сходнях уже шла послѣдняя суета, я вдруг сказал ей среди горланящей толпы тихонько:



— Я хотѣл бы задать вам перед разлукой один вопрос, Маруся...

— Говорите... — грустно отвѣчала она.

Я долго боролся с охватившим меня волненіем.

— Вы помните наши дни над Псллом? Помните нашу молодость?

Она молча кивнула прелестной головкой с еще сохранившимися тяжелыми косами.

— Скажите: догадывались ли вы тогда, как я вас... любил, как звал, как страдал?...

Она быстрым движеніем схватила меня за руки. В мягких карих очах была боль.

— Но... но это... правда? — задыхаясь, едва выговорила она.

— А зачѣм я стал бы это выдумывать? — грустно улыбнулся я.

Она бросила мои руки. Посинѣвшія губы ея затряслись, в милых глазах налились слезы и увядшая уже женщина вдруг закрыла лицо обѣими руками и плечи ея затряслись.

— Я... я ни о чем не догадывалась... Но... как это было жестоко с вашей стороны... тогда... молчать!...

В это мгновеніе пароход взревѣл в третій раз, раздалась команда и звонки и я, поцѣловав ей долгим поцѣлуем руки, бросился на сходни...

И тонкая фигурка плачущей женщины тихо растаяла вдали...

Тогда, над Псллом, я был увѣрен, что поступил честно, что я „исполнил свой долг“, — теперь, когда звучит уже послѣдній свисток готового к отвалу в вѣчность моего парохода, я... да, я не знаю, правильно ли я поступил тогда, я вызываю в моей памяти стройную смуглянку в вѣнкѣ из красных маков и моя душа, вся в слезах, шепчет ей:

— Маруся, милая, золотая дѣвочка моя, прости меня...

\* \* \*

Любовь — это вершина жизни. Дѣти, мысль, природа, искусство, многое может озарить и согрѣть нашу жизнь, но никогда не достигает жизнь такой яркости и полноты, как тогда, когда в душѣ сладким эхо прозвучит отвѣтное „да“. И ничего нѣтъ в этом мудренаго: это „да“ — источник всей жизни, тогда как все остальное лишь ея подробности, частности, отдѣльные мелодіи из великой симфоніи, которая началась невѣдомо когда и неизвѣстно когда кончится...

Наивно думать, что только красивая женщина может зажечь священным огнем эти вершины жизни — как восходящее солнце зажигает горныя вершины задолго до своего появленія, — ибо часто даже самыя обыкновенныя женщины, даже дурнушки неожиданно предстают пред нами носительницами священнаго огня Венеры-Побѣдительницы. Происходит это, может быть, потому, что нѣтъ такой дурнушки — я говорю, понятно, не об уродках... — у которой не было бы какой-нибудь плѣнительной черточки: у одной это волосы, у другой — глаза, у третьей — поющія линіи тѣла, у четвертой, как это было у Раисы, изумительный по своей нарядной пѣвучести голос, и не в пѣніи, а просто в разговорѣ, голос, который завораживал и заставлял забывать эту худенькую, рыженькую фигурку с косящими глазками...

Такую вот дурнушку на склонѣ дней моих встрѣтил я в М. Она была почти вдвое моложе меня. Она не была красива, но в очертаніях головы, в нѣжной путаницѣ бронзовых волос, в молодом стройном тѣлѣ было много прелести. Все в ней было налито — как зрѣлый персик своим



медвяным соком — непобѣдимой женственностью. И пьянила в ней извѣчная борьба с женским „стыдѣніем“, которая у нея всегда кончалась тѣм, что страсть прорывала всѣ преграды и она беззавѣтно отдавалась великой мистеріи любви. Восхитительна была и ея бѣшенная ревность: кромѣ нея на свѣтѣ для меня не должно было быть никого. Если я сидѣл с книжкой в саду, а мимо проходили молодыя женщины, М., забыв все, неслышно летѣла к окну, чтобы видѣть, как я буду вести себя... Ревнуя, она готова была скорѣе убить себя, чѣм уступить своей воображаемой соперницѣ, но в минуты нѣжности пѣла не хуже любой сонаты Бетховена...

Мы в самой гущѣ безсмысленной и жестокой гражданской войны. Под раскатами выстрѣлов М. глухой ночью тихо крадется ко мнѣ, чтобы под дыханіем смерти, которая бродит рядом, испить сладость поцѣлуя... Грохочет Балканами поѣзд, унося нас в жуткое неизвѣстное, — она незамѣтно тянется ко мнѣ и ищет, и боится ласки... И глубокое молчаніе Альп, и радостная свѣжесть ночи, и дымное серебро луны. В широко раскрытое навстрѣчу ночи и звѣздам окно неслышно влѣзает бѣлая, стройная фигурка и, сдерживая дыханіе, долго стоит в одной рубашкѣ около моей кровати и, подавив вздох, также тихо исчезает в окнѣ, точно растаяв в дымном серебрѣ луны. А утром, смущенная, признается в этом...

— Но почему же ты не разбудила меня?

— Но ты так сладко спал...

.....  
Грѣшница?

Я перечитывал, не знаю уж в который раз, „Анну Каренину“ и опять и опять поражался ея дикому, тупому, совершенно для Великана непостижимому эпиграфу: „Мнѣ отмщеніе и Аз воздам“

или, как это чудесно передал один нѣмец-переводчик: *Meine ist die Rache—ich spiele Ass*\*)! Непостижимо!... Ты или не Ты создал М. с этой ненасытной жаждой любви и счастья? Если не Ты, то Ты ей и не „хозяин“, а если Ты, то для чего же дал Ты ей эти возможности счастья под звѣздами, среди гор, в дымно-серебряной ночи? Для того, чтобы, оттолкнув, она растоптала Твои же дары?... Какое „отмщеніе“? За что?! За то, что она, как цвѣты и звѣзды, украшает своими поцѣлуями нашу трудную жизнь?... Да гдѣ же тут преступленіе?!

И как, как мог великій язычник, Толстой рѣшиться подписать смертный приговор „грѣшницѣ“ Аннѣ за то, что Каренин с его ушами не дал ей радости?! Аннѣ мстила лишь подленькая княгиня Марья Алексѣевна, которой просто завидно, что вокруг нея искрятся звѣзды, дышут райской свѣжестью горы, сгорают в ласках люди, а она только смердит на всю вселенную. И подумать, что эти отвратительныя слова о каком-то „отмщеніи“ неизвѣстно за что написаны тою же рукой, которая писала, как Оленин, пьяный жизнью, цѣловал солнечную красавицу-землю!...

Но не смущайтесь, милья, этим огрѣхом Великана: в эти недобрые часы он был весь во власти бѣса учительства. Он написал: „Мнѣ отмщеніе и Аз воздам“, а вы читайте это так: „От Меня вся радость Земли — пользуйтесь ею, дѣти Мои, пока для вас еще свѣтит солнце!...“

\* \* \*

В молодые годы я был отчаянным меломаном: у нас, русских, даже любовь к музыкѣ часто при

---

\*) Мнѣ отмщеніе— хожу с туза!



нимает характер настоящаго сумасшествія. Особенно любил я оперу. Это, конечно, отнюдь не говорит о тонкости моего художественнаго вкуса в тѣ далекіе годы, — этот устарѣлый и вульгарный род искусства может восхищать развѣ только какого-нибудь прогрессивнаго парикмахера — но из пѣсни слова не выкинешь. Может быть, нам в нашем „музыкальном развитіи“ и нужно пройти этой ступенью — или, говоря „своими словами“, может быть, нам среди всяких других глупостей нужно в жизни продѣлать и эту — но во всяком случаѣ пріятно отмѣтить, что приходит время—по крайней мѣрѣ, для немногих, — когда весь этот пошлый вздор отпадает. А есть счастливыя, здоровыя натуры, к которым эта зараза и совсѣм не пристает: вспомните Наташу Ростову в оперѣ. Я же болѣл этой болѣзнью очень бурно и почему-то очень гордился этим. В оперѣ я бывал почти каждый день.

И вдруг на довольно ярком музыкальном небосклонѣ Москвы, — яркости его, конечно, очень содѣйствовали газетные мѣхи...—загорѣлась звѣздочка чистоты и красоты необычайной: то была молоденькая артистка Е. Я. Цвѣткова, выступившая в частной оперѣ в Татьянѣ. У cadaго артиста есть своя коронная роль, в которой он показывает все, что в нем есть, и если в тѣ отдаленныя времена никто не мог даже отдаленно сравняться в „Снѣгурочкѣ“ с Маргаритой Эйхенвальд, —я до сих пор слышу ея серебристый, нѣжный голосок: „я попрошу у матери моей Весны немножечко сердечнаго тепла“... — то Цвѣткова сразу затмила всѣх других Татьян. Молодость, красота, изящество, плѣнительный голос, тонкая артистическая distinction дѣлали из нея на сценѣ какую-то живую поэму. Я был тайно влюблен в бѣленькую Снѣгурочку, но, конечно, это нисколько не помѣшало мнѣ смертельно влюбиться в обаятельную

Татьяну. Я не пропускал ни одного спектакля „Онѣгина“, в котором выступала моя богиня, и, молодой человек еще робкій, я все же рѣшился написать ей письмо, надо полагать в достаточной степени сумасшедшее. Я был тогда полным нулем — да не подумает читатель, что я свою теперешнюю роль в жизни склонен преувеличивать: я не *cher maitre*, я не Бунин... — я понимал, что блистательная артистка не обратит на мой бред никакого вниманія. Мало того: если бы это случилось, если золотыя двери моего алтаря предо мной вдруг раскрылись бы, я просто помер бы со страха или убѣжал бы куда глаза глядят... Надо сказать, что Снѣгурочка — я был знаком с ней лично—весьма поддерживала мой ужас перед артистками: она язвила и изводила меня при всякой встрѣчѣ. А когда я раз позволил себѣ выразить свой восторг перед Татьяной-Цвѣтковой—вот была пыль!... Но, понятно, никакого чуда не случилось, слава Богу, и, пострадав, сколько полагается, я поднял паруса своей ладьи для новаго похода за золотым руном любви...

Года шли, к сожалѣнію, без всякой задержки. Моя Татьяна, как услышал я в театральных кругах, вышла замуж по любви и скоро покинула сцену. Маргарита-Снѣгурочка тоже в свое время исчезла. Я совсѣм охладѣл к оперѣ, а потом и к театру вообще. Золотого руна счастья я искал, конечно, попрежнему, — эти безплодные, но радостные поиски и есть самый сок жизни...—но я уже знал, что любовь это совсѣм не безмятежная лазурь, знал, что печален жребій человека, который

Mit gierger Hand nach Schätzen gräbt  
Und froh ist, wenn er Regenwurmer findet...\*)

---

\*) Жадною рукою ищет клада и рад, когда находит—  
дождевых червей...



— словом, я прошел человѣческій путь внимательно, хотя, может быть, как и всѣ, без большой пользы...

И печальным ударом колокола пронеслась моей увядающей жизнью вѣсть, что моя Татьяна — умерла...

Потом небывалая буря революціи опрокинула все вверх дном. Я очутился в изгнаніи, как вырванный с корнем дуб, выброшенный морем на чужіе берега. Голова моя бѣлѣла все больше и больше. Радости жизни угасали, бѣдствія ея увеличивались, — одна Лига Націй чего стоит!... — близились среди развалин неизбежное... И вдруг пріѣзжает из Америки один из моих пріятелей и среди всяких других новостей говорит:

— А в Нью-Йоркѣ я обѣдал, между прочим, у Маргариты Эйхенвальд.

— У какой Маргариты Эйхенвальд? — разсѣянно спросил я, смутно вспоминая что-то далекое.

— Но... извѣстной артистки... Какая же есть еще у вас другая Маргарита Эйхенвальд? — с удивленіем сказал он. — Между прочим, вспоминали и о вас... Она очень кланяется вам...

Боже мой, да вѣдь это Снѣгурочка прислала мнѣ из сгорѣвших годов свой привѣтъ!...

Нужно ли говорить, что со слѣдующей же почтой в Нью-Йорк полетѣло мое письмо: что, гдѣ, как?... Оказалось, что революція выбросила Снѣгурочку в каменную пустыню Нью-Йорка, что она открыла там школу пѣнія, что среди ея учеников не мало негров, которые очень музыкальны и пр. И — ну, прямо непостижимо, как могла она сдѣлать такой промах! — к письму она приложила свой портрет, послѣдній, портрет — старухи!... И этот портрет разом убил во мнѣ нѣжный образ бѣленькой, тоненькой Снѣгурочки, которая тогда так

нѣжно звенѣла в душу: „я попрошу у матери моей Весны немножечко сердечнаго тепла...“ Как могла она рѣшиться на такое преступленіе?!

Между нами началась переписка. Иногда рождались милыя, теплыя минутки. И раз в такую минуту я открыл ей тайну о том, как я был влюблен в бѣленькую Снѣгурочку. Из Нью-Йорка прилетѣло теплое письмо, полное воспоминаній, а я—надо же вот было оказаться таким балдой!..—написал: „да, Вы были тогда обаятельна. Но все же в Татьянѣ выше всѣх была несравненная Цвѣткова... Я был в нее звѣрски влюблен. Но если Вам я тогда о любви своей ничего не сказал, не посмѣл, то ей сказал. Разумѣется, она не обратила никакого вниманія на признанія какого-то Щелкоперушкина...“ И из-за океана пришел сдержанно—холодный отвѣт: „да, конечно, Цвѣткова была в Татьянѣ не дурна, но за то не на сценѣ, в частной жизни, она была совсѣм обыкновенной и даже сѣренькой женщиной...“

Я ахнул над сердцем женщины: ей хочется уязвить свою соперницу даже в могилѣ!...

Идиллія двух старичков, раздѣленных океаном, временно нарушилась: я никак не мог отдать Снѣгурочкѣ на растерзаніе моей Татьяны, которая жила в моем сердцѣ такою, какою я видѣлъ ее тогда, в сгорѣвшіе годы... Но старушка дорожила нашими добрыми отношеніями — в самом дѣлѣ, жизнь вокруг нас становилась все пустыньѣе и пустыньѣе... — и первая сдѣлала шаг к прочному примиренію: почта принесла мнѣ из Нью-Йорка хорошенькій ящичек, в котором я нашел большую банку божественной — астраханской икры!...

Я принялся за икру с наслажденіем и меня тотчас же поразило ея дѣйствіе на мои эстетическія сужденія да и вообще на весь мой душевный строй: мнѣ вдруг стало казаться, что, если Маргарита и уступала Цвѣтковой в Татьянѣ, то все же



разница между ними, владычицами сердца моего, была не так уж велика, что тогда, в молодости, сужденія мои были, может быть, слишком уж поспѣшны и недостаточно взвѣшены... Да—думал я, доѣдая послѣдній буттерброд с икрой. — Да, конечно, и Маргарита в Татьянѣ была очень, очень обаятельна... И я, доѣвъ все, послал Снѣгурочкѣ теплый привѣтъ за океан: „спасибо, Снѣгурочка милая, и на всякій случай—прощай“...

\* \* \*

Одинокій, я шел среди утомительной сутолоки бульвара Анспах. Ослѣпительно сіяли огромныя окна магазинов, кафе и ресторанов, назойливо лѣзли в глаза пестрыя афиши, а по стѣнам, по крышам переливались разноцвѣтные огни подвижных реклам. Предо мной тяжелая колоннада сърой биржи, построенной—вот издѣвательство! — в стилѣ греческаго храма... И вдруг ярко вспомнилось мнѣ: больше четверти вѣка тому назад, в такой же вот осенній вечер, полный безтолковой суеты и огней, я стоял тут и ждал ту, которая готовилась любить меня. И она вдруг вышла ко мнѣ из гущи толпы, молодая, стройная, вся в черном.

—Это вы? Извините, я немножко запоздала...

И вот потухли тѣ слова ея, и наша молодость, и наша любовь и уже подходит пестрый клубок жизни к концу... Осенним вѣтром запѣла в душѣ печаль... Но безплодны сожалѣнія и жалобы — равнодушно кружится вокруг меня людская метель, на-крик кричат отвратительныя афиши, переливаются безчисленные огни и всѣ эти нахохлившіеся под холодным туманом люди торопливо бѣгут — навстрѣчу старости, одиночеству, смерти. Может быть, и она, тогда молодая, стройная, милая, жгучая, тоскует теперь гдѣ-нибудь в

холодной темнотѣ о пролетѣвших днях и смутно вспоминается ей осенній вечер, когда из холоднаго сумрака вышел ей навстрѣчу молодой, готовый любить ее гость из далекой страны...

\* \* \*

Сѣренкій любительскій „музыкально-вокальный“ и пр. вечер. Среди номеров хор молодежи, который должен изобразить четыре времени года. Первой вышла она в каком-то фантастическом нарядѣ, вѣнцѣ, с распущенными волосами, вся в сіяніи своей побѣдной семнадцати-лѣтней красоты. И вдруг ея взгляд с удивленіем открыл среди зрителей меня и она улыбнулась, как улыбается женщина, настоящая женщина, когда она встрѣчает то, что ее зовет и манит...

Над моей уже сѣдѣющей головой свершилось радостное чудо: эта улыбка была мнѣ одному. Но сейчас же опустились вниз прелестные глаза: она не хотѣла обнаружить пред всѣми свою милую, нѣжную, дѣвичью тайну... Конечно, это был только мимолетный каприз дѣвичьяго сердца — всѣ дѣвочки влюбляются в своих учителей, в старенькаго священника, в кино-артиста, мутный портрет котораго они видѣли в газетѣ... Но не все ли каприз, не все ли случайно, не все ли в жизни тѣнь облака, бѣгущая по землѣ?... Все же улыбка ея — нежданная радость, которую она, проходя мимо, бросила в мою жизнь, как цвѣток... Я—ея должник. И эти строки только нѣсколько скромных васильков, которые я благодарно кладу к ея маленьким ножкам, орошенные уже не росой, а тайными слезами грусти безконечной...

...Она уѣзжала и, вся взволнованная, пришла ко мнѣ проститься.



— Как, ты даешь мнѣ только одну руку, Hélène?

Смущенно улыбаясь, переполненная женственной прелестью, она подала и другую...

— Ну, вот... Так лучше... — сказал я, стараясь скрыть волненіе. — Прощай, милая, и будь счастлива...

Ея улыбки, милый каприз ея, ея волненіе я свято берегу в тяжелой копилкѣ моего сердца. Мысль, что, когда это сердце перестанет биться, все это богатство разсѣется без слѣда, кажется мнѣ совершенно невѣроятной—нѣтъ, что-то, гдѣ-то, как-то от мимолетных радостей наших непременно останется... Неужели же нѣтъ?!

\* \* \*

Я был приглашен на большой политическій ужин в Берлинѣ. Сосѣдом моим оказался бравый, усатый старик, лицо котораго показалось мнѣ знакомым. Нас представили один другому, но, как это всегда со мной бывает, я при представленіи не разобрал его имени. Он с сердечной улыбкой пожал мнѣ руку.

— Давно, давно не видались мы с вами!... — сказал он и обратился к напудренной старушкѣ с тихо трясущейся головой, которая сидѣла как раз против нас: — А развѣ ты не узнаешь нашего стараго знакомаго, Н? — спросил он и, замѣтив на моем лицѣ недоумѣніе, с печальной улыбкой добавил: — Не узнаете? Но это моя жена, Альма Фострем...

Я чуть не ахнул: Альма Фострем, „шведскій соловей“, несравненная Розина в „Севильском цырульникѣ“, по которой сходила с ума вся Москва да и я в значительной степени!... И сразу в памяти моей встал блестящій зал Большого

театра, ярко освѣщенная сцена и я услышал плѣнительный голос: „саявей мой, саявей, галлясистый саявей“... А старушка, б. Альма Фострем, ласково смотрѣла на меня, не узнавая, своими потухшими глазками и с морщинистаго личика ея мирно сыпалась в тарелку пудра...

Обѣд этот вышел для меня немножко печальным...



Она уѣхала повидаться с матерью и, как это у нас всегда бывало, не успѣв разстаться, мы снова потянулись один к другому. Так как ей очень хотѣлось посмотреть Париж, я написал ей, что буду ждать ее там. И прилетѣла телеграмма: ѣду.

Я помню то солнечное, морозное и нарядное утро ранней весны, когда я поджидал курьерскій на огромном Восточном вокзалѣ. Часы с убійственной медленностью дрыгали своими огромными стрѣлками по циферблату. Вокруг противная вокзальная суeta и гвалт... Но вот вдали свист, все замерло и к широкой платформѣ плавно подходит поѣзд. Еще нѣсколько мгновений и Маленькая уже прижимается ко мнѣ — молча, как умѣла дѣлать это только одна она. Быстрый полет автомобиля солнечными, морозными, едва просыпающимися улицами и она, рдѣя, как уголек, с сіяющими глазами жметя ко мнѣ, переполненная счастьем, и вдруг—при ея стыдливом характерѣ вещь прямо неслыханная! — быстро, украдкой цѣлует меня...

Я приготовил ей ванну, напоил ее кофе и она, все рдѣя, сіяет на меня своими мягкими хохлацкими очами: мы снова вмѣстѣ!...

— Ну, а теперь что?

Разумѣется, надо „посмотрѣть Париж“. Рѣшили начать с Лувра, понятно. У меня, скифа, отношеніе ко всѣм этим „достопримѣчательностям“



установилось давно и прочно, но мнѣ хотѣлось видѣть, как отзовется на всѣ эти „сокровища культуры“ Маленькая. И вот мы идем с ней пышными залами. Она немножко взволнована и робѣет.

— Ну, вот это фламандцы: Рубенс, ван Дайк... — говорю я, тихонько наблюдая милую. — Это вот Тиціан, то Рафаэль, а эта, налѣво, знаменитая Джіоконда...

— Эта?!...

На милом личикѣ узумленіе.

— Да. Развѣ она тебѣ ничего не говорит?

— Очень много, но... мнѣ стыдно сознаться... как раз обратное тому, что я ожидала...

Я продолжаю потрясать ее міровыми именами, но на милом личикѣ все рѣшительнѣе устанавливается что-то свое.

— А вот и Милосская...

Нѣсколько минут молчанія. Прекрасная богиня заворожила меня опять и опять: это несомнѣнное.

— Но на что тут всѣ эти камни?... — тихо говорит Маленькая, указывая на безобразные и бессмысленные обломки мрамора, которыми засыпано все вокруг и которые дѣлают эти пышные залы похожими на каменоломню.

— Не знаю, миленькая... Думаю, для того, чтобы профессорам было за что получать жалованіе и вообще быть значительными...

Молчаніе.

— А я выбросила бы весь этот мусор вон... — сказала Маленькая. — И пусть бы она так и стояла тут одна...

— Ну, зачѣм же одна?... Давай оставим и Антиноя из Фраскати...

— Да. Но сколько мусора, сколько мусора!...

Увы, міром правит, опираясь на глупость, шарлатанство...

Усталые, с болью в затылкѣ и с мутью разочарованія в душѣ мы вышли на солнечныя набережныя. Я видѣлъ ясно: „сокровища міровой культуры“ не придавили своей мнимой значительностью вольной, степной души моей прелестной скиѣки. Она не закатывала глаз, не стенала, не изнемогала, как отравленные Бедекером англичанки. Она осталась сама собой. Она блестяще выдержала экзамен и еще болѣе, чѣм прежде, завожила меня...

Вечером к нам зашла одна знакомая и, хватаясь хорошенькими ботинками, чуть-чуть кокетливо приподняла юбочку. „Ну, как?“—улыбнулась она мнѣ. „Потрясающе!...“—улыбнулся я. Маленькая потемнѣла, молча вышла из гостиной и вдруг в глубинѣ квартиры со всего маху, пушкой тарахнула дверь. Гостя засмѣялась: догадалась. И когда она ушла, была буря: я не смѣлъ смотрѣть на хорошенькія, но чужія ножки. Но мы скоро помирились...

И, когда потом, ночью, она с усталым мерцаніем в глазах, обнаженная, лежала предо мной, мнѣ вдруг вспомнилась Милосская, и я, как новый Парис, ни мгновенія не колеблясь, положил свое сердце к этим стройным ножкам: в этих пьянящих изгибах прекраснаго тѣла есть что-то от Милосской, но Маленькая все же без конца выше той, ибо та все же мертвый камень, а это — Женщина, любимая, любящая, до самой послѣдней складочки ея поющаго тѣла и милой вольной души моя, моя, моя...

— Мой? — блаженно лепечет она, заранѣе твердо увѣренная в отвѣтъ. — Весь мой?...

— До дна!... Но... гм... все же сегодня ты с... дверью...

— Не смѣй!... — сразу темнѣет она и закрывает мнѣ рот теплой ручкой. — Ты знаешь, что я



терпѣть этого не могу... Ты вообще должен себя поставить в жизни так, чтобы всѣм им—так называются на языкѣ Маленькой всѣ женщины, кромѣ нея,—и в голову придти не могло, чтобы с тобой можно было кокетничать так...

— Но, миленькая... Я же право не виноват... Как мог я предусмотрѣть, что...

— И предусматривать нечего!... — снова переживая в душѣ недавнюю грозу, сонно и настаивательно говорит она. — Чтобы это было в послѣдній раз!...

Ну, какая же Милосская может говорить в ночи такія очаровательныя глупости?!...

\* \* \*

Мнѣ казалось, что не успѣл я еще и глаз закрыть, как на мое плечо легла рука, милое прикосновеніе которой было мнѣ так знакомо.

— Ты уже спишь? — услышал я тихій голос. — Пойдем, посмотри на море: я никогда ничего подобнаго не видала!... Проснись, милый...

Я раскрыл глаза и, весь во власти дремы, старался понять, в чем дѣло...

— Ты непременно должен посмотрѣть...—повторяла Маленькая.

Удивительно было прежде всего это волненіе Маленькой: она не любила обнаруживать своих чувств... Она была уже в пестром ночном халатикѣ и прелестная головка ея была уже причесана на ночь. И сіяли милые глаза...

— Ну, вставай же!... Ты только посмотри...

Я встал, накинул на плечи, что попало под руку, и мы тихонько прошли на балкон, который висѣл над морем.

— Смотри!...

Я ахнул. Все море горѣло и переливалось

голубыми огнями. Они вспыхивали на гребнях лѣнивых волн, катившихся к берегу, переливаясь, разсыпались голубыми бусами и, засеребрившись голубой пылью, умирали на песках. Эта игра волшебных огней шла всюду, куда хватал только глаз, без конца. Я видывал свѣченіе моря и раньше, но никогда, даже приблизительно, не видал я такого великолѣпія...

А со мной рядом затаилась в нѣмом восторгѣ моя ненаглядная и этот восторг ея тѣм болѣе волновал меня, что женщины вообще мало воспріимчивы к красотам и чудесам природы... Мы оба молчали, а над нами вверху искрились звѣздные міры, высочайшая и умилительнѣйшая из тайн, а на песках, внизу, горѣло и переливалось в таинственной игрѣ темное море... Я тихонько обнял свою милую и она прижалась ко мнѣ своим стройным, теплым тѣлом...

В моей, все еще овѣянной дремой головѣ шла своя игра, такая же таинственная и прекрасная, как и голубая игра моря и игра звѣздных міров над головой... Рядом со мной, прижавшись ко мнѣ, стояла милая женщина, которую каким-то чудом прислал мнѣ Рок из далекой старо-русской земли для того, чтобы согрѣть и осіять мое одиночество, — близкая, родная, вся моя... Она принимала ближайшее участіе в моей работѣ и работа эта становилась от этого еще милѣе. Иногда она вспыхивала грозами ревности и бури эти были прелестны потому, что за грозовыми тучами сіяла лазурь любви. У нея была замкнутая душа, но, таинственная, необ'ятная, темная, как это море, иногда, особенно в ночи, она вспыхивала такими волшебными словами—огнями, что я умирал от счастья. Было просто непостижимо, как умѣла она находить в темных пучинах жизни такія слова-жемчужины, которыми она, как звѣздным вѣнцом, украшала мою жизнь...



— Правда, удивительно, миленькій?—прижалась она ко мнѣ, вся похолодѣвшая от ночного бриза. — Не налюбуйешься...

— Очень красиво... — тихо отвѣчал я.—Но я боюсь, не простудилась бы ты, родная...

— Нѣтъ, нѣтъ, ночь так тепла...

И мы долго молча стояли так, слившись и душой, и тѣлом, над морем в огнях, под небом в огнях...

— А теперь пора... — шепнула она. — А то ты не выспишься... Но только—прижалась она к моему плечу личиком, — я хочу, чтобы ты остался со мной... И мы не закроем двери на балкон...

Я чувствовал, что вот-вот ея душа, как таинственный папоротник, зацвѣтет в ночи и осіает все своим колдовским огнем. Она была слишком взволнована, чтобы молчать. И когда она крѣпко прижалась ко мнѣ в холодной постели, она вдруг жаркодохнула мнѣ в ухо:

— Но я все же непременно хочу ребеночка, милый!...

Это была наша давняя тихая трагедія: она хотѣла ребенка, а я не хотѣл новой безвинной жертвы для новых катастроф, которыя нависли над нами...

—Но, родненькая...

Она вся жарко обвилась вокруг меня и поцѣлуем не дала мнѣ продолжать.

— Но как же ты не понимаешь?... —дохнула она, вся огонь. — Я хочу, чтобы ты был весь, весь мой!...

Вся ночь вспыхнула голубыми праздничными огнями. Свѣтлый потоп нѣжности охватил меня. Она была для меня вселенной. И мы упились безбрежным блаженством среди таинственных огней таинственного праздника моря и неба...



Раз мы с Маленькой приѣхали на взморье очень рано, чтобы насладиться его тишиной до приѣзда тѣх курортчиков, которых рыбаки-фламандцы зовут между собой так справедливо: *vrem den luizen*, т. е. чужеземныя вши... И вдруг неожиданно рано наступили жаркіе, почти лѣтніе дни. Маленькую потянуло в море: она любила по-полоскаться.

— Так я сниму теперь же для тебя кабинку... — сказал я.

— Ты с ума сошел!... — вспыхнула она вся. — Неужели ты думаешь, что я буду купаться тут, на глазах у всѣх?...

Я насторожился: я чувствовал, что идет какой-то милый жест ея, свой, которые я так любил в ней.

— Но ты раздѣваться будешь в кабинкѣ, — сказал я, — а до моря дойдешь в длинном купальном халатѣ...

— И не подумаю!... Что бы всѣ смотрѣли?... Какая гадость...

— Но как же тогда быть?

— Ты хорош с мэром: пойди и попроси его, чтобы он разрѣшил нам поставить кабинку отдѣльно, вдали от всѣх...

Я был в восторгѣ: чадра и терем совсѣм не так плохи, как это кажется прогрессивным газетчикам... В тот же день я пошел к мэру и изложил ему свою просьбу. Он закис: с одной стороны ему не хотѣлось отказать мнѣ, а с другой стороны на что же он мэр, начальство? Он должен запрещать, разрѣшать, во все впутываться, всѣм мѣшать...

— Но это запрещено законом... — сказал он. — На пляжѣ всегда стоит спасательная лодка. А



как же купаться в одиночку? Мало ли что может случиться...

— Но я буду при ней... И почему вам хочется непременно быть няней там, гдѣ вас об этом никто не просит, мэр?...

— Allez, allez, allez!...—по-бельгійски поднял он локоть, протестуя. — Я знаю, что вы всѣ, русскіе, анархисты...

Так у нас с ним ничего и не вышло: он рѣшительно не мог позволить Маленькой утопиться... Мы отыскиали с ней вдали от отелей среди дюн яму, закрытую косматой ояя со всѣх сторон. Раздѣвшись в этом углубленіи, Маленькая бѣжала блаженствовать и качаться на сѣдых валах, а я сидѣл на горбатой, косматой дюнѣ и стерег, чтобы никто не тревожил мою милую... И вот она, вся струясь водой, с разрумившимся личиком идет, стройная, ко мнѣ, прячется в свою ямку, чтобы одѣться, и мы пустынным взморьем, вдоль котораго хрипят и лают чайки и свистят нарядно кроншнепы, лѣнливо идем к себѣ...

И в то же время дома, между четырех стѣн, в ночи она умѣла быть горячей вакханкой, которая не стыдилась своих ласк и восторгов. Но все это было для меня одного...

Я всегда думал, что счастлив тот, для кого у любимой женщины есть что потерять...

\* \* \*

Сѣрым осенним днем, под туманами, мы шли с Маленькой пустынной дорогой, змѣившейся по необозримым fa gnes. Так называются в Арденах ровныя, как наша степь, торфяныя болота, поросшія рѣдким мелколѣсьем и вереском. Я их очень любил: они очень напоминают нашу Россію своей безбрежностью и безлюдьем... И было сладко

идти так вдвоем с милой среди этого безмолвія и тихой печали, любоваться ржаво-красными пожарами осени и дышать душистым и звенящим осенним вѣтром... Изрѣдка прошмыгнет среди кочек сѣрый кролик, с треском взорвется тетерев или проскачет в отдаленіи стадо оленей, а потом опять неподвижность и безмолвіе, нарушаемое только слабым попискиваніем синичек по зазолотившимся перелѣскам. И рдѣет, и горит среди этой ржаво-золотой безбрежности своими кровавыми гроздьями рябина...

Мы шли и тихо колебался под моей рукой стан моей ненаглядной, и сіяли на меня ея милыя, мягкія, хохлацкія очи, и иногда — от полноты сердца ищут сближенія уста, — глубокій, до дна души поцѣлуй туманил наши души сладким, как мед, туманом...

...Она лежала на мягких моховых кочках, полуобнаженная, среди праздничными огнями рдѣющей рябины. Вокруг милой, темной головки ея краснѣли кораллы спѣлой брусники. В полузакрытых глазах была истома любви... И осеннее солнце, пробившись сквозь сѣдые туманы, нѣжно золотило ея стройное тѣло... Я не мог достаточно насмотрѣться на мою нѣжную. Она была для меня рдѣющей сердцевиной вселенной, она была солнцем всей жизни, дорогим настолько, что хотѣлось умереть в нем немедленно. И стояла вокруг тишина пустыни, бездонная...

Она встала, стыдливо привела себя в порядок и мы из пылающаго перелѣска вышли на пустынную сѣрую дорогу, которая не вела, казалось, никуда. Я нечаянно взглянул на остывающее лицо моей милой и затаился: так оно было ново, строго, необыкновенно!... Она была похожа на жрицу, только что отошедшую от еще теплаго алтаря, на котором она принесла жертву... Это было какое-то



торжественное преображеніе женщины среди огней осени... И невольно, тихо, почти с благоговѣніем я уронил:

— Но... какая ты...

Я не кончил... Маленькая поняла, как она всегда меня понимала, и промолчала, новая, строгая, торжественная и в то же время вся, до дна, моя...

\* \* \*

Был вечер. Париж пылал миллионами огней. Я спустился в отвратительно-душныя подземелья метро. Из черной дыры туннеля с грохотом вынесся поѣзд. В вагонѣ было всего нѣсколько человѣк. Слѣва от меня сидѣл чисто выбритый и форсисто одѣтый старик, повидимому, американец, а против него — у меня просто дыханіе перехватило — молоденькая, вся в красном красавица с неизбѣжным мѣхом на плечах. Я рассказывал о несравненных, незабываемых глазах Ревекки, но в тѣх безжалостно потушенных глазах замѣчательна была их небесная ласковость, их нѣжащій душу бархат—эти глаза поражали прежде всего своей величиной: казалось, что хорошенькое личико было только рамкой для этого побѣднаго чернаго сіянія. И вся незнакомка с ног до головы была какою-то совершенною поэмой, в которой нельзя переставить ни одного стиха, ни одного слова... Но я отвернулся к окну: жизнь прошла...

К моему изумленію красавица не раз внимательно и ласково вглядывалась в мое лицо. Я понял это так, что усатый иностранец заинтересовал наивную парижанку своей несовѣтностью для Парижа наружностью... А она оглянулась еще и еще... Не встрѣчая с моей стороны поощренія, она стрѣльнула горячими, веселыми молніями по аме-

риканцу. Тот вдруг весело подмигнул ей и красавица, чтобы скрыть смѣх, торопливо спрятала хорошенькое личико в мѣх...

Я понял, наконец: это была проститутка. И узнал я, что в моей дурацкой *âme slave* идеализм еще не умер: мнѣ стало жутко и больно. Вѣдь, ей прекрасной из прекрасных, можно было бы стоять богиней в храмѣ красоты и славы человеческой, а ее вся эта сволочь таскает за гроши по вонючим мебелирашкам!...

По странному совпаденію ей, старику-американцу и мнѣ нужно было выходить на одной и той же станціи. Она увязалась—было за американцем, но старик отклонил, видимо, ея услуги и она пошла за мной. Я остановился, встрѣтил и проводил ее глазами. Боюсь, что в глазах моих было то, что я испытывал. Во всяком случаѣ она не рѣшилась заговорить со мной и легко, точно в пляскѣ какой качаясь, она пошла среди огней океаном сволочи — за куском хлѣба... Я издали пошел за ней, но тотчас же потерял ее в водоворотѣ людском около какого-то огромнаго казеннаго зданія. На фронтонѣ его стояла какая-то каменная баба с завязанными глазами. Повидимому, это была торговка: в руках ея были вѣсы. Но тогда зачѣм же у нея были завязаны глаза?... А пониже, по карнизу, мертвыми каменными буквами в мертвом свѣтѣ электричества стояло: Свобода—Равенство—Братство, что-то запылившееся, нудное, противно-шарлатанское...

\* \* \*

Я шел старым парком. Воздух был свѣж и прозрачен, как хрусталь. С деревьев-великанов тихо рѣяли золотые кораблики опадающих листьев. На сіяющем озерѣ дремали лебеди. И вдруг один



из них взмахнул острыми крыльями, вздыбил на спинѣ бѣлоснѣжныя перья и невыразимо-прекрасным движеніем повел прекрасной шейкой. И движеніе это напомнило мнѣ что-то милое, свѣтлое и грустное... Что это было?...

А—а, Нина!...

Она взорвалась среди моих закатных дней, как какая-то бомба радости. Ей было тридцать шесть, но она казалась на десять лѣтъ моложе и слѣпила душу красота этого милаго лица и всего этого стройнаго тѣла. В особенности восхищало в ней меня одно ея безсознательное движеніе: иногда большой, по модѣ, воротник ея шубки как будто немножко стѣснял ее и она, сама того не замѣчая, дѣлала шейкой едва уловимое движеніе и этот жест напоминал мнѣ пѣвучее движеніе лебедя, когда он один, сам для себя, охорашивает над серебряной гладью вод. В минуты особой нѣжности я так и звал ее про себя по старо-русски: моя лебедь бѣлая... Нина прибѣгала ко всѣм этим современным подчеркиваніям своей красоты, ко всѣм этим мелким женским ухищреніям, не понимая, что она только искажает и унижает этим свою побѣдную красоту. Тоже было и в душѣ ея: с одной стороны она хваталась еще за „модныя“ платья, бывала на пошлых, нищих бѣженских балах, боялась княгини Марьи Алексѣвны, а с другой все в ней было отравлено какою-то горечью, жила она теперь почти в нищетѣ и в грязном, утомительном и безрадостном трудѣ сестры милосердія. В довершеніе всего бѣдняжку томила болѣзнь сердца: до сих пор я вижу, как она, задыхаясь, медленно поднимается в духотѣ по лѣстницѣ подземной дороги... И сладкое имя ея точно вѣнчает золотой коронкой ея надломленную красоту, ея надломленную душу. Мнѣ всегда кажется, что от этого имени пахнет бѣлой акаціей и вешнею ночью, когда в серебристом небѣ поют хоры

бѣлыхъ ангеловъ. Я не знаю женскаго имени болѣе сладкаго...

Она относилась недовѣрчиво к моему восторгу и не сразу отозвалась мнѣ — и то робко, с оглядкой. Я помню первое свиданіе с ней. Был непогожій и холодный вечер марта. Я ждал ее около станціи метро на ул. де ля Помп уже около часа. Ея не было. Жизнь казалась могилой, но уйти не было сил: а вдруг? И чудо случилось: из подкатившаго автомобиля вышла Нина. И этот ея милый, слегка завуалированный голосок: „простите, что я заставила вас ждать...“ Все в миг было забыто и ненастная ночь сразу загорѣлась праздничными огнями. Но все осталось попрежнему: пойти со мной поужинать казалось ей почти подвигом, а когда она подарила мнѣ свои портреты, это мучило ее, как преступленіе. И если я в порывѣ нѣжности называл ее Ниной, она мягко прибавляла:

— ...Алексадровна...

И все же между нами нарастало что-то робкое и нѣжное и раз — мы ѣли с ней блины в каком-то русском ресторанѣ, — ея рука опустилась под стол, и нашла мою — точно в забытіи, нечаянно. И сейчас же она испугалась... Как огня боялась она моих рѣзких сужденій о жизни и людях и всегда при этом вся сжималась...

Я помню робко сіяющій день начала весны. Мнѣ удалось вырвать у нея согласіе прокатиться со мной в Версаль, — не потому, что я питал особую нѣжность к этому гнѣзду французских королевъ, „красота“ и „пышность“ котораго может прельщать развѣ только лавочников, не потому, что именно тут зарыта динамитная бочка версальскаго „мира“, которая скоро взорвет гнусный вертеп одряхлѣвшей Европы, а просто потому, что некуда больше тут бѣжать из невыносимаго „Города-свѣточа“ с его пакостной башней Эйфеля...



Мы бродили с Ниной по пустынному, тихо осіяанному еще робким солнцем парку, среди тяжелых, безвкусных, мшистых статуй, пообѣдали в каком-то ресторанѣ, катались на лодкѣ по какой-то лужицѣ, которая должна была изображать из себя озеро. Я укутал ея ножки своим пальто и она молча слушала мои сумасшедшія рѣчи о несбыточном. Иногда милые голубые глаза ея наливались такой чарующей нѣжностью, что я вот-вот был готов повѣрить чуду, она тотчас же пугалась:

— Да, да... Может быть, на двѣ недѣли вас хватит, а потом...

— Но, милая, родная Нина!...

— ...Александровна...

— Нѣтъ, только Нина!... Я готов назвать вас хоть сейчас моей женой...

Ее страшила и моя страстность, и моя ревность к ея прошлому, настоящему и будущему и она, сдѣлав шаг вперед, испуганно дѣлала десять шагов назад. И весенній день, который мог бы кончиться радостью, кончился для меня безпредѣльной тоской...

А с утра началось то же самое: мое нетерпѣливое наступленіе и ея испуганное отступленіе. Я никак не укладывался в тѣ рамки, в которых привыкла жить эта испуганная, надломленная душа. Я смирялся только тогда, когда видѣл, как она с тяжелой истомой в милых, голубых глазах, с полуоткрытым ротиком поднимается по лѣстницѣ, которую я, много старше ея, брал не замѣчая... И послѣ долгих и больших страданій все, не успѣвъ расцвѣсти, отцвѣло. Окончательно поняв, что будущаго у нас нѣтъ, я возвратил ей ея портреты. От нея пришло из Альп письмо с „глубокоуважаемым“ и „всего хорошаго“ и с выраженіем удовольствія, что она может, наконец, порвать эти „злосчастные“ портреты. „Вы хотите пріѣхать

сюда — писала она. — Но в этой глуши нѣтъ ни одного отеля, ничего, кромѣ санаторіи, в которой живу я с моей больной. А кромѣ того у Вас, понятно, в Парижѣ интереснѣе“... и пр.

И я, устав, отвѣчал ей:

„Глубокоуважаемая Мина Александровна,—я чрезвычайно счастлив, что мог, наконец, доставить Вам удовольствіе хотя бы только возвращеніем Ваших злосчастных портретов. Не бросайте их: они могут пригодиться для других. Конечно, я мог бы сам рѣшить, гдѣ мнѣ интереснѣе, но раз Вы предупредили меня в рѣшеніи, я могу только благодарить за Вашу любезность. Я думаю, что Вам слѣдовало бы возвратить мнѣ мои не менѣе злосчастныя письма, которыя, как Вы понимаете, тоже попали не по адресу“... И т. д.

Но читать письма надо умѣть. Если смыть эти полныя горечи строки, под ними легко может оказаться совсѣм другой текст: опытный реставратор, сняв с полотна бездарную мазню, иногда открывает под ней труд большого мастера. Если бы Мина обладала этим мастерством, она под моими строками прочла бы вот что:

„Мое золотое солнышко, моя свѣтлая Лебедь, моя тоска, в минуты чернаго отчаянія я возвратил тебѣ твои портреты. На этом та паутинка, которая еще привязывала меня к тебѣ, порвалась и моя жизнь страшно опустѣла. Будь на твоём мѣстѣ другая женщина, она поняла бы, что было скрыто под моим жестом, и, конечно, с обратной почтой возвратила бы мнѣ эти портреты и написала бы на них нѣсколько милых, теплых женских слов... Мина, свѣтлая Лебедь моя, мое нѣжное, послѣднее счастье, не топчи золотых цвѣтов на лугу жизни!... Мина, позови меня скорѣе“...

Но—подсказывает дьявол-искуситель — если можно читать так твое письмо, то развѣ нельзя также „реставрировать“ и ея строчек? Нѣтъ, не под



всякой мазней скрыта картина великаго мастера. Если смыть ея строки, под ними окажется, увы, только лист бѣлой бумаги, на котором нѣтъ и слѣда таинственных писъмен сердца...

Нѣтъ, не о чем больше рассказывать! Пѣснь оборвалась недопѣтой и Нина испуганно ушла в нищету, а я в сѣдыя и холодныя сумерки надвигающейся старости. Но когда в воспоминаніи я вижу это милое, измученное, задыхающееся личико, слышу эти горькія—горькія рѣчи замученнаго существа, для котораго жизнь должна была бы быть свѣтлым праздником, больно сжимается сердце и безысходной печалью звучит ея сладчайшее имя: Нина — нѣтъ, нѣтъ, и теперь не „Александровна“!...

...И долго стоял я над свѣтлым озером, и рѣяли вокруг меня в хрустальном воздухѣ золотые кораблики осени, и скользили по дремлющей водѣ бѣлыя видѣнія лебедей...



В нашем большом, но тихом и уютном пансіонѣ—монастырѣ вдруг появилась новая пансіонерка: молодая, высокая и статная монахиня с блѣдным лицом и черными сіяющими глазами. О ней говорили, что она страдает нервным разстройством и — пишет стихи. В самом дѣлѣ, утром, когда всѣ наши болѣе или менѣе неудобоваримыя дамы-пансіонерки — моя молоденькая пріятельница, Ивонна, ядовито звала их *numéros* — благоухая нафталином, разбредались по столѣтнему парку, черная красавица садилась гдѣ-нибудь в холодкѣ и, величественно окутанная широкими складками своей мантии, — вѣроятно, это был символ міровой скорби, — начинала что-то усиленно писать в тетрадь. Я подмѣтил, что обязательную для монахини грубую, тяжелую обувь она очень искусно

прятала под своей мантией. Боже мой, да развѣ монахиня не женщина?...

Вѣроятно, ей скоро донесли, что я несчастный схизматик и что я „тоже пишу“ и потому, всякій раз, как я, проходя мимо, почтительно кланялся красавицѣ, она, сіяя на меня своими черными, не только горящими, но говорящими глазами, очень ласково отвѣчала мнѣ со сдержанной улыбкой. Раз, проходя, я издали слышал, как она с чувством читала свои стихи дамам: тут был и сладчайшій Іисус, и безкровная жертва, и человѣчество, и мое сердце, и все, что полагается... Я немножко ускорил шаги, но... но она была все же чрезвычайно обаятельна!...

Раз на солнечной луговинѣ за монастырем мы встрѣтились так близко, что разойтись молча было просто неприлично. Я вѣжливо освѣдомился о ея здоровьѣ и с удовольствіем узнал, что ей лучше.

— Но как идет к вам ваш красивый наряд... — сказал я, видя, что ни одного из *numéros* близко нѣтъ. — К какому ордену принадлежите вы, сестрица?...

— У нас не говорят сестра, но мадам... — с милой улыбкой поправила меня красавица. — Но, конечно, это не имѣет рѣшительно никакого значенія...

— Извините, мадам, хотя к вашей молодости и красотѣ лучше шло бы сестра... — сказал я. — И, как я слышал, вас зовут Елизавета, Лиза... Так к какому же ордену принадлежите вы, мадам?

— К... Мы занимаемся главным образом преподаваніем катехизиса дѣтям...

— Но это должно быть страшно утомительно, сестр... извините: мадам...

Нѣсколько старушенцій, кашляя, ползли мимо. Лиза строго подобралась.



— Почему? — сказала она. — Нисколько! Мы начинаем, понятно, с Ветхаго завѣта, — она украдкой оглянулась на numéros — с сотворенія человѣка, проходим всю исторію народа израильскаго и постепенно...

И постепенно злодѣйка прочла мнѣ цѣлый урок катехизиса! Были тут, понятно, и догматы нашей св. церкви, и ея таинства, и всякія другія замысловатыя штуки, но — Господи, прости мое согрѣшеніе!... — когда numéros были подальше, в черных глазах прекрасной проповѣдницы обольстительно искрились всѣ семь смертных грѣхов сразу и точеный подбородок ея дрожал в сдержанной улыбкѣ. Но приближались к нам numéros опять, Лиза снова ревностно просвѣщала душу проклятаго еретика, стараясь спасти ее от адскаго пламени. Я все же от катехизиса устал и бѣжал бы, если бы не этот колдовской дрожащій подбородок и благочестиво потупленные глазки...

Колокол ударил к salut.

— Я должна спѣшить в часовню... — прелестно улыбнулась она. — Я буду сегодня усердно молиться о спасеніи вашей души: вы были так внимательны во время моего маленькаго урока...

— Мерси, Lise... — тихо сказал я.

Подбородок очаровательно задрожал, она, потупив глазки, низко опустила прекрасную головку и, вся окутанная міровой скорбью, статная, высокая, пошла вслѣд за скрипящими и перхающими старушенціями в часовню. На поворотѣ солнечной дорожки — уродцы были далеко впереди, — черная красавица вдруг обернулась ко мнѣ и обдала меня таким взглядом своих колдовских агатов, такой улыбкой, что спасеніе моей души повисло на паутинкѣ...

Постепенно, в тишинѣ, на солнышкѣ, Лиза поправилась, дьявольски похорошѣла, но все не

оставляла своих стихов о надмірних блаженствах. Изрѣдка, когда numèros были далеко или тупо дремали послѣ обѣда, она пьянила меня своей улыбкой,—и гдѣ только она выучилась этому?!...— а когда уродцы приходили в себя, она, повышая голос, давала мнѣ урок катехизиса. Numèros чрезвычайно одобряли эту ея ревность о Господѣ... И раз — был солнечный и пьяный майскій день, весь в цвѣтах... — она вполголоса закончила свою проповѣдь нѣсколько оригинально:

— Я просто умираю здѣсь с тоски!... Ну, прямо сил нѣтъ... Посмотрите: вон у ворот стоит чей-то автомобиль... Ради Бога, похитите меня... Filous!

Сказать, что это было совсѣм уж так неожиданно, я однако не могу...

— Но я не умѣю править автомобилем, Лизочка... — сказал я. — Эти дикія забавы всегда были не в моем вкусѣ...

— Ах, какой вы скучный!... — досадливо отвернулась она. — Ну, тогда подговорите...

Но мимо, тяжело шаркая ногами по гравію и перхая, ползли numèros.

— Таинствъ семь, мсье... — строго сказала Лиза. — Повторите, какія вы знаете...

— Если начинать с начала, то, конечно, во-первых, рожденіе, Ли... Извините: мадам... — сказал я. — Затѣм...

— Рожденіе?!... — сдѣлала она широкіе глаза и, быстро закрывшись черным молитвенником, вся затряслась в безмолвном смѣхѣ. — Я... я... никогда...

Она падала от смѣха. Но numèros, слава Богу, прошли...

Недѣли через двѣ, когда я был по дѣлам в Брюсселѣ, туда прилетѣлъ слух, что Лиза вдруг безслѣдно исчезла из монастыря, а чрез три дня на шумном бульварѣ Анспах я вдруг встрѣтил ее:



в чудесном весеннем туалете, вся праздник, она ѣхала в автомобиль с рослым и красивым молодым человеком с этими новыми, широчайшими и, видимо, отъемными плечами. Увидѣв меня, Лизочка вся просіяла, помахала мнѣ ручкой и, так как поток автомобилей остановился, крикнула мнѣ на тротуар:

— А вы повторяете катехизис?... Что?... Но таинства начинаются не с рожденія!... — пьяной улыбкой улыбнулась она, вся весна. — И никогда не придумывайте новых таинств, пока вы не выучили хорошо старых — нѣтъ ничего легче, как впасть в ересь!... До свиданія, милый друг...

И я пожалѣл, что во время не выучился управлять автомобилем. Если бы я не презирал так легкомысленно этот, правда, грубоватый спорт, кто знает, как повернулась бы жизнь черной красавицы Лизы и—моя?...

\* \* \*

Раз у моей бѣженской двери постучалась женская тѣнь. Она робко говорила о себѣ: забилла бѣдность, болѣзни дѣтей, нелады с мужем. И просила работы, которой, понятно, у меня не было. Но она не отходила и иногда свои письма издалека подписывала одной только буквой: М. Я очень скоро замѣтил эту одинокую буковку, но тогда отозваться я не мог: со мной была Маленькая. И она, все не уходя, стала подписывать свои письма полным уже именем...

Сегодня, когда в окна бьют залпы дождя, а на морѣ кипит бѣшенная буря, я вспомнил вдруг у огонька об этой одинокой буковкѣ и мнѣ стало жаль, что суровая жизнь убила ее: кто знает, что в концѣ концов могло бы расцвѣсти из нея?...

Но я поборол искушеніе: жизнь кончена и

мой корабль стоит уже перед выходом в тот Океан, откуда не возвращался еще ни один мореход, в котором умирают всѣ шумы жизни, на котором сіяет извѣчный покой... Так, пусть!... Но, идя навстрѣчу неизбежному, я все же унесу с собой в далекій путь в сердцѣ маленькое, теплое, сразу увядшее М.



Как-то раз, в хорошую минуту, я спросил одну из своих красавиц:

— Объясни ты мнѣ, если можешь, одну загадку: я не Аполлон Бельведерскій, не свиной король с миллиардами, не знаменитый киношник, слава котораго гремит если не по всему міру, то по многим газетам, но почему все же женщины были всегда высоко милостивы ко мнѣ?

Она посмотрѣла на меня с немножко насмѣшливой улыбкой.

— А потому — сказала она, — что женщины вообще любят тѣх, кто любит женщину, женщину вообще. Может быть, онѣ—и ея губы сморщились опять в насмѣшливой улыбкѣ—ищут таким путем союзников себѣ во вражеском лагерѣ...

— Будто бы уж каждая из вас так озабочена міровым господством? — усумнился я. — Вѣдь, не сіонскіе же вы мудрецы...

— Конечно, я шучу... — уже мягко улыбнулась она. — Союзников нам, понятно, не надо: справимся сами. Мы просто любим за любовь к нам, за тот священный огонек, который мы чувствуем в груди таких женолюбов и который часто зажигает нас много жарче, чѣм вся краса твоего Аполлона Бельведерскаго...





Ан. Франс очень настаивал на одной из самых любимых своих мыслей: человек даже отдаленно не может предвидѣть всѣх послѣдствій какого-либо своего поступка: онъ всегда не тѣ, которых он ожидал. Это громадная мысль, значеніе которой человекъ еще совсѣм не оцѣнил...

Я так переработал, что мои рукописи при перепискѣ превращались в окрошку из опечаток. В концѣ концов я рѣшил сдать работу какой-нибудь самопишущей дамѣ, при чем в газетном об'явленіи я прибавил: пожилой. Не успѣло мое об'явленіе появиться, как лакей отеля утром доложил мнѣ, что в пріемной меня ждет какая-то барышня. Спускаюсь: передо мной бѣдно одѣтая розовая блондинка, настолько молоденькая, что я воскликнул:

— Это вы по моему об'явленію?!...

— Да... — сконфузилась она.

— Но... гдѣ же ваша кормилица?

Она разсмѣялась, но сейчас же и потускнѣла.

— Я понимаю, что я не отвѣчаю вашему требованію, но... но мнѣ некуда дѣваться... — сказала она. — Я сейчас служу в одном магазинѣ, получаю 850, но по случаю кризиса фирма закрывается и я на улицѣ... Я просто пропадаю... Возьмите меня...

— Не волнуйтесь... Садитесь... Вот так... Что вы знаете?...

— Я знаю французскую машинку...

— А русскую?...

— Не знаю... И вообще я ничего не знаю...  
Я — абсолютная тьма...

— Прекрасно... Так и будем звать вас: Абсолютная Тьма. Или еще лучше: Бэби... Хорошо?

— Но мѣсто у вас вы мнѣ дадите?

— Сперва идемте завтракать... Снимите пальто...

— Нѣт, пальто я снимать не буду...

Понимаю: под пальто у многих русских бѣженков или нѣт ничего, или очень мало. Бѣдная дѣвочка!...

За завтраком лакеи пренебрежительно косились на скромный наряд Бэби и непременно хотѣли подавать мнѣ первому.

— Начинайте с барышни... — строго останавливал я всякій раз демократических аристократов во фраках.

За завтраком я узнал исторію Бэби: разоренная революціей семья, удавка нищеты, всеобщее раздраженіе, семейныя свары и бѣгство в широкій мір в поисках если не счастья, то куска хлѣба. Но мір не заготовил Бэби даже и этого. Впереди только одно: петля. Обычная для меня парижская тоска грязной лапой сжала мое уже уставшее от людского горя сердце... За кофе Бэби вытащила из своей убогой сумочки дрянныя папиросы и задымила через нос, как вахмистр: не одурманиваясь, им, бѣдняжкам, не хватает уже, видимо, сил жить...

— Ну, вот...—кончив завтрак, сказал я.—Теперь я поѣду по дѣлам, а вечером приходите ко мнѣ обѣдать...

—Хорошо. Но вы берете меня секретарем?

—Не торопитесь. Сперва надо познакомиться...

— Но мы вѣдь уже познакомились!... Мнѣ надо зарабатывать деньги... — дѣловито сказала Бэби и вдруг зарумянилась. — Я сказала вам, что я получаю 850, но я соврала: мнѣ сказали, что надо сказать побольше, чтобы вы мнѣ дали тоже побольше... Я получаю только 300.

— Отлично. Приходите обѣдать...



Несмотря на призрачный бойкот демократической сволочи во фраках, Бэби стала ходить ко мнѣ ежедневно завтракать и обѣдать. Она была не глупа и очень мила, но излишними познаніями обремененія не было. Это было мнѣ безразлично. А русскую машинку выучит в недѣлю. Но дѣвочка все настаивала, что ей надо „зарабатывать очень много денег“. В концѣ концов оказалось, что у нея есть жених. Я навел справки: ни к чему неспособный парень, который все ждал какого-то американскаго дядюшки... котораго не было. У него была мать, сестра с дѣтьми и вот для них-то и нужно было Бэби „очень много“ денег. Кромѣ того, у нея оказалось „очень много“ долгов: 1200 фр. Моя задача осложнялась: одну ее вытащить еще можно, но на всѣх ея будущих родственников сил у меня не хватало. Но нельзя было и бросить милую дѣвочку на погибель. Я сжился с нею и обѣд без ея дурачеств был уже скучен.

— Сегодня мы пойдем пить кофе к „Маркизе Севинье“... — сказал я. — Пирожныя там замѣчательныя. Но я поздно лег и потому вы должны развлекать меня, а то я засну...

— Но вы сперва скажите, берете ли вы меня... Нельзя изводить так человѣка!..

— Не шумите, Бэби, и идем ѣсть пирожное...

Не успѣли мы выйти из отеля, как Бэби вдруг схватилась за пуговицу своего пальто и с сердитым лицом начала вполголоса бормотать какія-то заклинанія.

— Что случилось? — удивился я.

— Развѣ вы не видите? Вон на той сторонѣ поп... Если вы встрѣтите попа или монаха, то непременно надо ухватиться за пуговицу и читать заклинанія. Я скажу вам его, а вы запишете... Это первое средство против них...

В уютной кондитерской было тихо и тепло. Я задумался: что же мнѣ с ней дѣлать? Вдруг, смотрю, Бэби сидит, выпрямившись, как палка, щеки безобразно надуты, глаза презрительно опущены вниз. Немногочисленная, накрахмаленная публика дорогой кондитерской явно скандализována, но нѣкоторые втихомолку смѣются на златокудраго чертенка.

— Это что еще, Бэби?!

— Так сидите вы. Я думала, что тут так принято сидѣть всѣм...

— Не может быть, чтобы я был такой!..

— Факт. Печально, но факт...

Она мила необычайно...

— Но берете вы меня к себѣ, наконец, или нѣтъ?... С вами не хватает прямо никакого терпѣнія. . Ну, говорите же!..

— Я не знаю, что сказать, Бэби. Во-первых, я живу всегда в деревнѣ, далеко от Парижа, — как же вы будете с вашим женихом? Второе: денег „много“ у меня нѣтъ. Да вам надо сперва самой одѣться и подучиться хоть языкам... Я не знаю, что дѣлать...

Бэби нахохлилась: выхода, в самом дѣлѣ, как будто не было.

— Но так как дѣла у вас плохи, Бэби, то вот вам нѣкоторая помощь от вашего старого друга...

Она радостно вспыхнула.

— Но как же могу я принимать от вас деньги так?...

— Разбогатѣете, отдадите... — успокоил я ее. — Это пустяки... А найдете выход, напишите...

Рано утром я выѣхал на Сѣверный вокзал. В ожиданіи поѣзда я стал просматривать русскія газеты. И наша демократія, и наша аристократія, на смерть перепуганные выстрѣлом Горгулова,



валялись в ногах перед благородной Франціей, превозносили ея „гостепріимство“ до небес и никак не уставали лизать ея демократическія пятки. Я швырнул поганые листки прочь и — увидал Бэби в ея жалком пальтишкѣ: несмотря на ранній час, милая дѣвочка пришла проводить меня.

— Но вы, конечно, не завтракали?...

— Не успѣла...

Я усадил ее в свое купэ, закупил ей апельсинов, сандвичей, шоколаду и она с аппетитом принялась за завтрак. Уничтожив все, она задымила противной папироской и снова на милом личикѣ ея появилось презрительно-прищуренное выражение. Это она опять изображала меня: ей почему-то нравилось воображать, что именно так я смотрю на вселенную. И вдруг лицо ея сдѣлалось важным, она учительно подняла палец и заговорила:

— Духовная природа человѣка есть не что иное, как божественное откровеніе бытія... Как вы видите, господа, проблема жизни и проблема религіозная это одно и то же...

Я засмѣялся. Третьяго дня ей непременно захотѣлось пойти на какую-то головоломную лекцію, — „никогда не видала, какія это бывают лекціи...“ — и я должен был проводить ее к этому кладезю премудрости...

Темная печаль сжимала душу: не потерять бы это милое созданіе, которое освѣтило мои сумерки золотым лучом своей молодости... Дать ей хоть немного передохнуть в затишьѣ...

Время отѣзда подходило. Мы вышли на перрон. Бэби, вытянувшись, презрительно-прищуренно оглядывала пассажиров. Многіе были оскорблены легкомысленным поведеніем какой-то там дѣвицы: ея озорство роняло их высокое достоинство. Сердце сжималось все больше и больше: жутко было оставлять златокудраго птенчика среди ужаса и грязи мерзкаго „Города-свѣточа“...

— En voiture, s.v.p. !\*)

Я стал у окна. Поѣзд плавно двинулся. Бэби, вдруг нелѣпо и угловато изогнувшись, замаха-ла мнѣ ручкой так, как должна была бы махнуть какая-то воображаемая дѣвица: à l'année prochaine!... \*\*) В вагонѣ многіе засмѣялись: она была безподобна.

В плачущемъ сердцѣ тихо умирали весенніе побѣги...

Послѣдній актъ этой маленькой драмы былъ разыгранъ жизнью съ чрезвычайной быстротой при благосклонномъ участіи французской демократи-ческой полиціи. Мстя ни в чемъ неповиннымъ людямъ за выстрѣлъ Горгулова, она обрушила на бѣженцевъ всякіе новые скорпіоны. У жениха Бэби в бумагахъ оказалось что-то не такъ — для блага французской демократіи оказывалось необходимымъ выслать его вонъ. Нищій, в отчаяніи, онъ пустил себѣ пулю в лобъ, а Бэби утромъ на зарѣ бросилась в Сену. Вытащили ее уже мертвой и в ожиданіи чего-то положили мокрую и уже окоченѣвшую на берегу. Надъ ней, закрывъ трясущимися руками лицо, глухо и страшно стоналъ отецъ, изможденный старикъ почти в лохмотьяхъ. Двое дюжихъ полицейскихъ съ трудомъ удерживали мать, которая, захлебываясь уже бесполезными словами, рвала на себѣ сѣдые волосы и все покушалась броситься в игравшую солнечными зайчиками Сену... Вокругъ ста-домъ толпились демократы. В облачномъ, уставшемъ небѣ нагло торчала желѣзная, на-вѣка, глупость Эйфеля...

\* \* \*

Ихъ, слава Богу, было немного — всего четы-

---

\*) Садитесь!

\*\*) До скорого



ре или пять, — нѣтъ, четыре, потому что первую, опаленную кавказским солнцем и страстью армянку Т., отвергнутой считать нельзя: если бы я не был так занят Юліей, я очень отозвался бы этой огневой дѣвушкѣ. При случайных встрѣчах на студенческих собраніях мы мало говорили с ней, но с кѣм я ни говорил бы, чѣм бы занят я ни был, я всегда чувствовал на себѣ эти огромные, черные, палящіе глаза. Когда я встрѣчался с ними, они не опускались, но зажигались еще ярче, так, что иногда, точно пугаясь своего огня, они припускали черныя завѣсы своих стрѣльчатых рѣсниц. И как раз в эти мгновенья этот полупотушенный, мерцающій взгляд пріобрѣтал особую, непреодолимую силу и горячій, пьяный туман кружил мнѣ голову... Но я никогда не умѣлъ—хвала Творцу!... — ни дѣлать других для себя, ни себя для других. И так знойная дѣвушка эта и ушла из моей жизни навсегда — нѣтъ, не ушла еще, но уйдет скоро вмѣстѣ со всѣми и со мной. О, этот близкій уже исход в страну невѣдомую этого свѣтлаго каравана любви!... О, эта блистательная поэма, переходящая под кровавый плач сердца из тихого адажіо лементозо в скорбный, послѣдній погребальный марш...

За нею там же, в Лозаннѣ, встала на моем жизненном пути Ольга, артистка, крупная, волоокая Гера с синими близорукими глазами, в которых так легко наливались жемчуга слез... Она пріѣхала туда с мужем и его пріятелем, приват-доцентами московскаго университета, которые были посланы за-границу на казенный счет, чтобы усовершенствоваться в хирургическом искусствѣ у знаменитаго Ру и которые очень усердно занимались изученіем коктэйлей и других остренных европейских удовольствій. А Гера льнула ко мнѣ и, не встрѣчая у меня отклика, горько плакала, бѣд-

ненькая. Когда командировка кончилась и молодые ученые, усовершенствовавшись в коктейлях, вернулись в Москву, Гера стала писать мнѣ большія, нѣжные, душистыя письма, которыми я—человѣкъ существо довольно дрянненькое...—гордился: письма от артистки, легко сказать!... Когда я сам наѣзжал в Москву, я непременно навѣщал Ольгу — с мужем она уже разошлась, — в ея особнячкѣ около храма Христа Спасителя. Она сиделась в старинной гостиной против меня и неотрывно смотрѣла на меня в лорнет своими синими глазами и по ея красивому, румяному лицу бѣжали слезы... Я уносился в пьяныя дали опять и опять за мной бѣжали повсюду ея нѣжные и грустныя, полныя сдержанных жалоб письма... Бѣдная, милая, добрая, Гера!...

А вот Софья Петровна К., бывшая подруга уже умершаго Левитана, что-то смуглое, черное, бурное, неугомонное, африканское. Это у нея я встрѣтился с Маргаритой Эйхенвальд, Снѣгурочкой. Она восхищалась каждой моей написанной строчкой.

— Нѣтъ, вы послушайте только!... — бурно требовала она от своих гостей вниманія.—Посмотрите, как умѣет он сказать то, что нужно... Слушайте:... „И овсянка опять прозвенѣла своей грустной пѣсенкой — точно то был привѣтъ от кого-то далекаго, но дорогого...“ Нѣтъ, Н., если бы я встрѣтила вас тогда, не знаю, за кѣм пошла бы я, за Левитаном или за вами!... Ах, да пошел ты вон!...—вдруг яростно обрушилась она на своего ручного журавля, который подкрадывался ко мнѣ, чтобы долбануть меня своим ужасным клювом в спину: он терпѣть меня не мог. — Иди прочь, дурак!

И раз, весенним вечером, когда я уходил, страсть бурно прорвалась у этой уже старѣющей



женщины и она, охватив меня сзади, обожгла меня поцѣлуем в шею и, оттолкнув, тихим, низким, мокрым голосом уронила:

— Уходите!... Скорѣе...

От двери я обернулся. Закрыв обѣими руками лицо, она стояла ко мнѣ спиной и плечи ея тряслись. А над ней, на стѣнѣ, висѣла одна из самых прелестных картин Левитана, полная невыразимой тоски „Вечерняя Звѣзда“...

Живя в Ниццѣ, я всегда обѣдал в отелѣ „Трех Императоров“. Раз за сосѣдним столиком появилась молодая женщина, одѣтая с тѣм богатым, вызывающим шиком, как одѣвались только русскія женщины, вырвавшись на свободу Лазурнаго берега. Ей было лѣтъ тридцать, но ея нѣсколько тяжелая красота не говорила мнѣ ничего — может быть, от того, что в тѣ дни я весь принадлежал моей маленькой Лили. Прекрасная землячка ожгла меня взглядом и раз, и два, и три—я был только сдержанно вѣжлив. Потеряв терпѣніе, она послала ко мнѣ своего лакея:

— Мсье, графиня Крутицкая желала бы получить от вас нѣкоторыя справки — может быть, вам будет угодно перейти к столику графини?

Нѣсколько смущенный, — из-за Лили,—я подошел к незнакомкѣ и представился:

— К вашим услугам, графиня...

Я хорошо понимал, что графскій титул красавица присвоила себѣ только для красоты слога. Справки оказались, понятно, только предлогом. Она была женой виднаго инженера, который крутил большія дѣла в Маньчжуріи, а она, пока что, наслаждалась свободой. В ближайшіе дни землячка развернула для атаки всѣ свои силы. Я оказывал пассивное, но стойкое сопротивленіе.

— Но, Боже мой... отчего вы... такой?... Развѣ я дурна?... Или что?...

— Я не один, графиня...

— Ну, так что же?! — со страстным упреком бросила она. — Я чрез нѣсколько дней уѣду и вы вернетесь к своей... красавицѣ...

— Нѣтъ, это невозможно...

— Вы... вы... Уйдите!...

Дня три она не показывалась. И вдруг записочка: „Я нездорова. Зайдите ко мнѣ. Я Вас не сѣм“... Шторы были спущены. На столѣ всякія сласти, фрукты и вино. Она в красивом, пестром, очень откровенном халатикѣ и вся горит, настолько, что даже воздух вокруг нея кажется раскаленным.

— Садитесь ближе, ужасный человѣкъ... Вина хотите?... Нѣтъ, нѣтъ, я ни разу еще не встрѣчала такого чудовища!... Да вы рыба или что?

Она положила на стол свои обнаженные, полныя, красивыя руки и, склонившись на них пылающей щекой, смотрѣла на меня затуманенными глазами...

— А что она... очень страстная женщина? — низким голосом уронила она, наконец.

— Может быть, мы будем говорить о чем-нибудь другом, графиня? — сказал я.

— Вы ужасен!... — вздохнула она и, выпив одним глотком половину бокала, передала его мнѣ. — Дopeйте... И непременно вот тут, гдѣ были мои губы... Я хотѣла бы видѣть ее: какая у нея власть над вами!...

Я едва выбрался от нея, жаркой, больной, плачущей страстными и бѣшенными слезами. Я стал всячески избѣгать ее. Но, слава Богу, это продолжалось недолго: из Петербурга нагрянуло двое ея родственников, которые имѣли вид богатых, степенных старообрядцев, арестовали эту бѣшеную и увезли ее в Россію...



Измучившись в старом Ярославлѣ с красавицей Галей, я бросился за-границу, но по пути застрял на нѣкоторое время в Подмосковьѣ, там, гдѣ среди березовыхъ роцъ еще жили милыя тѣни Вѣры I и Маши: я налетѣл на Шурочку К., дочь богатаго фабриканта, и, должно быть, с горя, рѣшил жениться. Шурочка была дурна собой, очень худа, но чрезвычайно *distinguée*. Когда я теперь вспоминаю ее, я прежде всего слышу сухое шуршаніе шелка и запахъ дорогихъ духов. Никакой любви тут не было, а так одурь какая-то, тоска безкрайняя, желаніе треснуть себя по головѣ чѣм-нибудь... Но Шурочка обрадовалась... К счастью, я во время испугался и под предлогомъ болѣзни—я, дѣйствительно, что-то кис послѣ ярославской трепки — поѣхал на нѣкоторое время за-границу. И застрял там довольно крѣпко...

Переписка с Шурочкой вскорѣ оборвалась за отсутствіемъ матеріала, а в особенности огня. И спустя долгое время от нея пришло вдругъ письмо, в которомъ она краснорѣчиво — она думала, что с молодымъ писателемъ надо быть обязательно краснорѣчивой... — выражала мнѣ сочувствіе по поводу моихъ немоганий и очень совѣтовала мнѣ прибѣгнуть к народному средству: пить травку. Надо сказать, что европейскіе знаменитости начали подозрѣвать у меня туберкулезъ легкихъ,—отсюда и тревоги Шурочки. „Если Вы откроете ботаническій атласъ на словѣ „скабіоза“ — писала мнѣ моя бѣдная невѣста, — Вы увидите лиловый цвѣточек-звѣздочку, которой Вы не мало видѣли у Васъ в Никольскомъ, на лужайкахъ... Такъ вот“... И тут слѣдовалъ совѣтъ, какъ надо мнѣ обходиться со скабіозой, чтобы встать на ноги. Я послалъ ей очень теплое письмецо с выраженіемъ благодарности, но о возвращеніи ничего не написал...

Такъ все дѣло с Шурочкой и кончилось—она

вскорѣ умерла, бѣдняжка, от какого-то страннаго истощенія...

И вот, наконец, Эллен М. писательница-фламандка, бурно проходившая „опасным возрастом“ в холодную тоску старости. Лицо ея было еще сравнительно свѣжо, но фигура страшно опустилась. Пышный румянец ея красиво сочетался с бѣлыми волосами и пестрой фантазмагоріей ея всегда очень изящных платьев. Она играла и звала, но во мнѣ эти зовы возбуждали только жуть.

— Понимаю, понимаю!...—вздыхала она.—Но если бы мы встрѣтились с вами лѣтъ хотя бы пятнадцать тому назад, могу вас увѣрить, вы вели бы себя иначе!...

Она смахивала с красивых глаз своих слезинку — ах, как ужасны эти глаза женщины, которая всю свою жизнь отдала любви и которая ни за что, ни за что не хочет, не может оторваться от золотого кубка!... — и брала себя в руки.

— Нѣтъ, нѣтъ, я еще не сдаюсь!... — с веселой улыбкой, от которой у меня сжималось сердце, говорила она. — Я погуляю на свободѣ еще годков десять-пятнадцать, а потом выйду замуж и мы с мужем будем грѣться у камина в покойных креслах, утирать друг другу носы и рассказывать один другому о своих милых тѣнях... Это вы прекрасно придумали, Н., эту вашу книгу о милых тѣнях!...

Она уносилась то на Балеарскіе острова, то в Париж, а то в свой богатый Антверпен и звала меня туда, то посммотрѣть старинныя церкви и музеи, то сѣздить на берег Сѣвернаго моря подышать свѣжим вѣтром. Но я не ѣхал: у меня не было сил подать эту милостыню этой бѣдной б. женщинѣ...

И на этом, слава Богу, кончается весь синодик убіенной мною любви...





И вот тихо, незамѣтно, яко тать в нощи, подошло неизбежное — старость. Я не вдруг замѣтил ея подход. Жизнь разными мелочами укрѣпляла меня в иллюзіи, что мы еще повоюем. Раз, помню, шел я с Маленькой свѣтлым взморьем. Вдали, в открытом морѣ, шла сельдь и десятки черных лодочек с рыбаками спѣшили к ней. И я спросил Маленькую: „а ну, посчитай, сколько лодок ты видишь“... Она насчитала восемь: она была близорука. Потом стал считать я, обладавшій в молодости глазами краснокожаго, и насчитал девяносто двѣ. Ясно, что жить еще можно — вѣдь я старше ея на двадцать пять лѣтъ!...

И тѣм не менѣе подкрался день, когда я с грустью и ужасом понял, что пора поставить точку. И не столько потому, что я становился для женскаго глаза пустым мѣстом, сколько потому, что встрѣча с этими милыми дьяволами, созданными на радость человѣку, перестала волновать меня, что их чары все болѣе и болѣе теряли власть надо мной... Значит, жизнь кончена, подвел я, наконец, итог и—удивился: так скоро?!... Зачѣм?!... Кому это жалко, чтобы я пожил еще?... Умники начнут тут, конечно, умничать,—на то они и умники—что „неужели же с выходом из нашей жизни женщины кончается и все?“.. Я никому не препятствую размахивать в парламентѣ руками, писать в газетах статьи, покупать и продавать акціи, основывать пріюты для воспитанниц, не окончивших Смольнаго института, но для меня ясно: ушла женщина — ушла красота, а ушла красота—ушла душа жизни... Я слышал об одном еврей, молодом, красивом и богатом, который всю жизнь шутил, что, как только ему стукнет 50, так он сам оборвет нить жизни. И всѣ смѣялись над ним. Но

вот наступил пятидесятый день его рожденія, из спальни утром он не вышел, а когда прислуга вошла к нему, он лежал на кровати с пробитым пулей черепом... И недаром римляне времен „упадка“ на порогъ старости сами вскрывали себѣ жилы...

Недавно я обѣдал в клубѣ с одним си-деваном. Этот старик, когда-то сенатор, егермейстер и князь, много старше меня, в самых паскудных выраженіях говорил, что он еще не сдается и пр. Я старался не смотрѣть на эту обрюзгшую гадину. Это „французское“ отношеніе к женщинѣ было всегда противно мнѣ, невозможно, как невозможно непристойно вести себя в храмѣ. Даже тогда, когда я несомнѣнно видѣл пошлость, лживость, запачканность женщины, я старался не думать об этом, забыть, а если подлинных алмазов для вѣнца ея мнѣ не хватало, я создавал их сам силою воображенія. Женщина не на пьедесталѣ была моей мукой всегда, Женщина истинная — моя религія...

Я начал эту прощальную книгу романом восьмилѣтняго мальчика. Но знойное дыханіе грозной и всемилостивѣйшей богини, Венеры Побѣдительницы, я почувствовал много раньше — когда мнѣ было, кажется, лѣтъ шесть. Это был какой-то жуткій, глухой, темный толчок страшных подземных сил, котораго я тогда, понятно, не понял. Мнѣ вдруг захотѣлось обнять дерзко и грубо маленькую, лѣтъ семи дѣвочку, я сдѣлал это, а когда она, испуганная, забилась и закричала, я отскочил, потрясенный сам не зная чѣм. Я видѣл дѣвочку-караимку лѣтъ трех, в которой явно проснулось половое чувство, и ея красавица-мать была вся стыд и смятеніе. У моих породистых пойнтеров половое чувство просыпалось на шестом мѣсяцѣ и даже раньше. Молодые пѣтушки смѣшно и жутко обнаруживают это пробужденіе инстинкта, когда они



чуть побольше воробья... И добрые моралисты хотят заковать эти страшныя силы своим жалким набором слов!... Впрочем, не надо принимать их красноглаголаніе в серьез:

И вот эта бездонная сила, которая так тяжело иногда омрачает наши молодые—да и не только молодые: см. „Дьявола“ Толстого... — годы, а иногда дарует нам такія свѣтлыя радости, стала вдруг замѣтно во мнѣ отмирать. Жизнь холодала и пустѣла. Казалось бы, дѣйствительно усталое сердце, дѣйствительно усталое тѣло должны были бы радоваться тихой гавани, но, увы, эта „свѣтлая“ гавань оказалась, как и многое другое в жизни, миеом, а ея „покой“—безцвѣтным, тяжким, свинцовым безразличіем могилы. Жизнь многоцвѣтной рѣкой обходила меня стороною, а у меня не было не только силы, но — это много страшнѣе—желанія броситься в ея горящія волны. Новый Танта́л, я был прикован к берегу незримыми цѣпями, ужас одиночества сжимал мою душу и, как древнее „мене-текел-фарес“..., предо мной горѣли в пустотѣ тяжелые слова Мопассана: „Vous sentirez l'effroyable détresse des désespérés, vous vous débâtez, éperdu, noyé dans les incertitudes, vous crierez „à l'aide!“ de tous les côtés et personne ne vous répondra. Vous tendrez les bras, vous appellerez pour être secouru, aimé, console et personne ne viendra!...“

И „никто не придет“ — вот послѣдній аккорд тяжкаго адажіо ламентозо старости, за которым скоро раздадутся рвущіе звуки погребальнаго марша. На одно мгновеніе они всколыхнут так

---

\*) Вы узнаете ужасающее отчаяніе потерявших надежду, вы будете биться, потерянный утопающій в сомнѣніях, вы будете кричать во всѣ стороны „помогите!“ и никто не отвѣтит вам. Вы будете простирать руки, вы будете звать, чтобы вас утѣшил кто-нибудь и согрѣл своей любовью и — никто не придет!

называемых „близких“, а затѣм и их пестрая и горячая рѣка пронесет мимо, вдаль, твоя могила зарастет крапивой и — никто не придет на нее больше... Раньше при этой мысли душа сочилась кровью, желчью и слезами, хотѣлось все же, не смотря на очевидность, крикнуть „спасите!...“, но теперь и это все кончилось: душа холодно слушает смертный приговор и тихо, устало, чрез силу радуется, что вот теперь уж, слава Богу, никто не придет...

Это вот и есть старость, преддверіе конца концов... Но если бы все же весной на невѣдомой могилкѣ моей собрались дѣвушки, всѣ в цвѣтах и лентах, и, ничего обо мнѣ не зная, не для меня, а для себя, спѣли бы пѣсню о молодости и любви... может быть, охолодавшій дух мой, дух старика-язычника, прилетѣл бы к ним с лугов, засыпанных асфоделями, и без зависти, без тоски, без боли, но благожелательно и благоговѣнно благословил бы их на любовь...

Может быть, это когда-нибудь и будет, а пока впереди только сѣрые дни, холодныя, одинокія ночи, тоска и — никто, никто не придет!...

\* \* \*

Я вошел в плещущій голосами зал брюссельской консерваторіи. Публика, как всегда в Бельгii, очень сѣренькая, демократія. Рядом со мной в креслах какой-то губастый пиджачек оживленно рассказывает двум сѣреньким дамам о том, как он сѣл не в тот трамвай и что из этого вышло. Тѣ квохчут сѣреньким смѣхом... Душа замутилась: плохой пролог к „Торжественной Мессѣ“!...

Зароились обычныя, унылыя мысли. Нерон говаривал, что музыка в одиночку не музыка. Он не подозрѣвал, что музыка — да и всякое искус-



ство — только и музыка, что в одиночествѣ. Не только не должно быть рядом никакой „публики“, но даже хор и оркестр должны быть скрыты густой завѣсой, ибо уродство человѣческое не вяжется с прекрасным міром звуков. Для чего должен я видѣть длинный нос в прыщах первой скрипки, лошадиный профиль гобоя или всѣ эти „свиныя рыла“ биржевиков и полуголых полукожоток?... И все это чиханье, шептанье, припудриванье... Но тут сухо застучала палочка сѣдого капельмейстера, все стихло и полно и торжественно зазвучало „киріе элеисон“—Господи, помилуй...

Уже уставшая от жизни душа шевельнула обожженными крыльями, гдѣ-то в глубинах ея прошли подобные неземным громам Бетховена рыданія восторга и вдруг в глубинѣ зала, над хором и оркестром, среди бѣлоколоннаго храма души моей в тихом сіяніи встали милыя тѣни тѣх, кого я нѣкогда любил, и мое сердце вдруг запѣло Торжественную Мессу—им...

Радостно звенѣли золотыя трубы архангелов: „слава в вышних Богу“!... Я закрыл глаза—их жгли слезы... — и за черными завѣсами вѣк в бѣлоколонном храмѣ молился: „всѣ мои благословенія, самыя горячія, самыя чистыя, да будут над вами, милыя тѣни мои! Многія из вас уже подошли к тому великому одиночеству, которое живет на границах увядающей жизни,—да будем мир душам вашим, любимыя!... А тѣх из вас, которым еще улыбается солнце, да хранит Рок в радости нетлѣнной. Многих из вас распяли и распинают люди, как распинают они все прекрасное на землѣ, но да пощадит вас, Великій Непостижимый!“

„Credo in unum Deum... — гремѣли незримые хоры за черными завѣсами в бѣлоколонном храмѣ, в храмѣ милых тѣней моих.—Вѣрую во единого Бога Красоты, Бога Доброты, Бога Радости свѣтлой,

живущаго в свѣтѣ неприступном. Это Он послалъ вас, любимыя, милыя, в жизнь мою для радости неупиваемой. Вы — дщери Его, единосущныя, свѣтъ от свѣта Его, богини мои истинныя от Бога истиннаго. Отбросим, мои любимыя, тупыя, безкрылыя сказки стад человѣческих, которыя эти двуногіе зовут Религіей. Мы с вами—дѣти Божіи. Мы всѣ проходим горькою Голгофою жизни, но всѣ мы носим в сердцѣ нашем возможность свѣтлаго воскресенія: в момент встрѣчи нашей среди лабиринтов земли не всплескали ли мы бѣлыми крыльями воскресенія и не вознеслись ли в единую и святую Церковь Его, в которой благоговѣйно склоняются пред Ним, равные, Бетховен и негр, незримая букашка и необ'ятная комета в безднах небесных?... Свят, свят, свят. Господь Бог, исполнь неба и земли славы Твоея... Вы слышите, любимыя, ненаглядныя, как сладко поет Ему и вамъ душа моя?..“

Гремѣли свѣтлые хоры... Вся жизнь, переполненная грустью колыхалась предо мною, как пестрый океан, безбрежный, бездонный и торжественный, и из темных глубин его, с никому невѣдомых погостов любви вставали онѣ, милыя тѣни, однѣ за другими... И, производя этот ночной смотр моей гвардіи любви, вдруг среди чаровниц этих увидал я тѣх, которыя прошли моей жизнью лишь сном мимолетным, но оставили все же в душѣ моей глубокій слѣд... Вот страстная, жадная В., которая задыхается в нищѣ эмигрантской жизни и крадет у Судьбы всякій миг, если не счастья, то хоть забвенія на минуту. Мы болтали раз с ней в „Метрополѣ“ под звуки оркестра и она, с своей обычной дерзостью, положила мнѣ вдруг свою золотистую головку на плечо: „ну, поцѣлуй же меня!...“ Вот черноглазая, блѣдная, бьющаяся из послѣдних сил Марочка, которая, спасаясь от голо-



да, служит в ночном вертепѣ Монпарнаса и задыхается от ужаснаго кашля, от зари до зари, и на грошевое жалованье свое содержит не только себя, но и лежебоку-мужа, который замучил ее и котораго она, обезсиленная, все же не может бросить. Вот прелестная Макс. Едва познакомившись со мной, она пришла как-то ко мнѣ в сумерки и в неудержимом порывѣ выложила предо мной вдруг всю страшную исповѣдь своей молодой, но уже изломанной и испачканной жизни. Потрясенный, я написал ей суровое письмо: оставьте меня!... И она тотчас же прибѣжала ко мнѣ, вся блѣдная, в слезах, с мукой в прекрасных глазах: за что?... за что?... Цѣлуя руки, я успокаивал ее, просил прощенія в моей жестокости и она стала ходить ко мнѣ почти каждый день, уютно садилась в уголокѣ дивана и иногда, взяв мои руки, в неудержимом порывѣ прижималась к ним щечкой... Вот прелестный Серпик Лунный — я только что, прощаясь с жизнью, сжег ея засохшіе цвѣты и золотистую прядь ея волос, которые она прислала мнѣ из чужой страны... И помню наш прощальный обѣд с ней. Она плакала... „Ну, не будем сердиться и огорчаться!... — сказал я протягивая ей руку чрез стол. — Хорошо?“ И она тотчас же вложила свою ручку в мою и крѣпко сжала ее. И так был этот жест ея мил, что я до сих пор вижу его иногда во снѣ — без нея самой, а только это пожатіе, и в душѣ моей пробуждается тепло и — грусть...

Вот милыя тѣни, которых я встрѣтил мельком, на мгновеніе на запутанных путях жизни моей и которыя мимолетным взглядом в суматохѣ каменных улиц, в театрѣ, в поѣздѣ сказали мнѣ, что мы могли бы быть счастливы вмѣстѣ. Вот с тихой улыбкой смотрит на меня дѣвушка из Чили, портрет которой я видѣл в каком-то дорогом нѣ-

мецком изданіи и милый образ которой так зачаровал меня, что я годы помню эту жемчужинку, выброшенную бурно-блистающим потоком жизни на чужіе берега, которых я уже не увижу... Вот тѣ женщины, которыя из туманных далей жизни слали мнѣ письма, часто исповѣди, души которых звучали согласно с моей, которых я никогда не видал и не увижу, но которыя согрѣли и освѣтили дни мои. Вот женщины, которыя проплыли моей душой, как нѣжное облако в свѣтѣ вечернем, как та красавица, с глазами цвѣта барвинка, которую я раз видѣл во снѣ, которую, проснувшись, тоскующей душой искал вокруг, зная, что ея нѣтъ... Я и не подозревал, что сонмы ваши, милыя тѣни мои, так велики и свѣтлы и так торжественно-высшающе звучат хоры мои в честь вашу на уже угасающей зарѣ жизни моей...

Вот длинный, свѣтлый караван тѣх, которых я сам, художник, любя, или поднял из праха столѣтій или создал из „ничего“. Вот Миріам из Вифаніи, нѣжная, как утренняя звѣзда, вот вся пылающая огневой страстью рыжеволосая Миріам из Магдалы, вот обаятельная Миррена с лѣсными глазами гамадріяды, которая из савана „христіанства“ вырывается на пьяный солнцем простор язычества, вот прелестная бунтарка Эпихарида умученная Нероном, вот строгая, как Аѳина Промакос, Іола, которая никак—как и я — не насытится любовью... Вот нѣжная Оленушка, жена князя Володимера Красна Солнышка, вот трагическая Рогнѣдь, княжна полоцкая, и плѣнительная из плѣнительных Дубравка, дикая дочь лѣсов черниговских с душою огневой и волшебной, как цвѣток вѣщаго папоротника... Вот бѣдная Ирина, которою так восхищался старый Георг Брандес незадолго до своей смерти, вот прекрасная Красная Мадонна, вот обаятельная „колдунья“ Виріамо, вот Нина и Лиза, горящія огнем волшебным среди моих



родных лѣсов суздальских, и Ксенія, которая томится душой в плѣну жизни, как Ярославна, в Путивлѣ, на стѣнѣ городской... И развѣ могу я исключить из свѣтлаго сонма любимых Наташу Ростову, и будто бы бесплодную Соню, и прелестную Кити, и казачку Оленку, и Лизу Калитину?!

Гремѣли свѣтлые хоры. Медленно ползал среди бѣлых колонн дым кадилъниц... Послѣ гимнов мира вдруг промчался храмом злой вихрь труб и барабанов и сжала сердце жуткая мысль: „но я-то, я то дал ли вам счастье, милыя тѣни?...“ И среди свѣтлых сонмов встала вдруг М. Раз с торжко-тихой улыбкой она сказала мнѣ: „посмотри, как высохла моя грудь... Развѣ она раньше была такой?“... Она помолчала мгновенье и вдруг с невыразимым страданіем и страстью бросила: „и все это взял ты!“... Я усмѣхнулся печально: „но развѣ я вампир? Развѣ я не люблю тебя?“... Наступило молчаніе. Я боялся, что она скажет: „да, ты любил, это вѣрно, но тяжка была всегда любовь твоя!...“ Но она только молча, из всѣх сил обняла меня и в страстном порывѣ ея я почувствовал бездонную готовность отдать и послѣднее, отдать все...

Вокруг меня уже трещали рукоплесканія, слышались лживые клики стада человѣческаго, желавшаго показать свою возвышенность, и смѣшно кланялся ему сѣденькій капельмейстер. Я упрямо закрыл глаза: не хочу вас, уроды!...

Да, чаша выпита до дна. Кончены сказки волшебныя, кончены пѣсни колдовскія и потухают послѣдніе огни... Не время ли самому задуть чуть теплящійся огонек на остывающем жертвенникѣ?... И, когда в тихом стонѣ оборвется пестрая и горячая сказка жизни моей, склонитесь, родныя, надо мной и тихой слезой проводите меня туда, гдѣ кончаются всѣ сказки и всѣ пѣсни... „А я в послѣдній раз склоняю пред Тобой колѣни,

Господи, я скиѣ, дикарь, радостно кочевавшій по степям жизни Твоей, я, пчела, восторженно носившая с цвѣтов Твоих золотой мед радости в теплый душистый вселенскій улей. Когда холодные туманы смерти поползут в моем стынущем мозгу, даруй мнѣ послѣднюю великую радость увидѣть всѣх их, тѣх, которыя засыпали мою жизнь цвѣтами во имя Твое... И пусть мнѣ мнится тогда, на розстаньях, что вокруг меня благоухают бѣлыя акаціи, и лебеди сонно охоращаются на свѣтлом озерѣ, и горят в сиренево-пепельных сумерках среди старых соборов пасхальные огни воскресенія, и среди золотых пожаров осени рдѣет рябина, и стелятся снѣговья степи в огнях алмазных, и в безконечности міра торжественно и нарядно сіяют сапфиры ночей Твоих, и звенят любовью старые боры Земли Суздальской, и торжественно умирает вдали гимн вечерній: „Свѣте тихій святыя славы...“, и призывно тянутся ко мнѣ со всѣх сторон из дымаго серебра луны бѣлыя, милыя, зовущія руки... Пусть это и будет моим царством небесным—на нѣсколько секунд!... Другого мнѣ не надо, Господи... Аминь“.

---



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
ИВ. Ф. НАЖИВИНА

- Том 1 — Избранные рассказы.  
2 — Мирушина книжка—рассказы для дѣтей.  
3,4,5 — Распутин—историческій роман.  
6 — Перун — пантеистическій роман.  
7 — Женщина—роман.  
\* 8 — Бѣлобандиты—роман.  
9 — Казаки—роман XVI в.  
10 — Неопалимая купина—книга о Толстом.  
11 — Фатум—роман.  
12 — Полѣлуй королевы—роман.  
13 — Евангеліе от Фомы—роман I в.  
14 — Прорва—роман.  
15,16,17 Мужики—роман.  
18 — Остров блаженных — евгеническій роман.  
19 — Собачья республика—роман.  
20,21,22 Во дни Пушкина—роман XIX в.  
23 — Недостроенный храм—роман.  
24 — Глаголят стяги—роман X в.  
25 — Бѣс, творящій мечту—роман XIII в.  
26 — Кремль—роман XV в.  
27 — Большевичка—роман.  
28 — Іудей—роман II в.  
29 — Лиліи Антиноя—роман II в.  
\* 30,31,32 Священная весна—роман.  
33 — Молодежь—роман.  
34 — Древліе письмена—роман.

- 35 — Милыя тѣни — книга о женщинѣ и любви.
- \* 36 — Скованный скиф. — Парадоксы о парадоксах современности.
- 37 — Моисей, Вождь Израиля — ист. роман.
- 38 — Софисты—роман из жизни Греціи времен Сократа.
- 39 — „Неглубокоуважаемые“— роман из жизни современного русскаго литературно-газетнаго міра.
- \* 40 — Воробьи—Планетарный балаган—роман.
- \* 41 — Интеллигентщина—роман.
- \* 42 — Записки чудотворца (времена Юліана Отступника)—роман.
- \* 43 44 — У стѣны: 1—Автобіографія. 2 — Самое милое, самое страшное... 3—Афоризмы, 4—Adagio Lamentoso, (с портретами).
- \* 45 — Веселые ребята, берендѣи — роман.
-



Издательство М. В. Зайцева. Харбин, Чистая 80а-  
Собственные изданія:

1932—1933 г. г.

	Ям. д.
Архангельскій Ты есть то, (нов. созн. челов.)	2.30
Гроссе Мертвая смерть, стихи.	0.70
Даниленко К жизни, роман	0.90
„ Оторванный, роман	0.90
„ Вилла вѣчное спокойствіе, ром.	0.90
„ Записки крестьянск. начальника	0.30
Зайцев Соловки, воспоминанія	1.20
Иванов Вс. Огни в туманѣ	1.80
„ Повѣсть об Антоніи Римлянинѣ	0.45
„ Дѣло челов. (опыт филос. культ.)	0.90
Кикучи Дама с жемчужиной	1.20
Коджак Око в окнѣ	0.50
Лович Что ждет Россію, роман	1.30
„ «Ея жертва»	0.90
Несмѣлов Без Россіи, стихи	0.55
Свѣтланскій Бѣгство из рая	0.45
Талызин По ту сторону	1.50
Морозова Невозвратное, роман	1.—
Енборисов От Урала до Харбина	0.90
Суворин Оздоровленіе голодом	0.70
Церковный Энциклопедич. слов. о. Феодосія	1.50
Бетекс Пѣснь творенія	2.30

1934 г.

Апрѣлев Нельзя забыть	1.50
„ Нашей смѣнѣ	0.75
„ На Варягѣ	1.—
Байков В дебрях Маньчжуріи	1.50
Вершинин Мір в лапах сатаны	0.90
Грешам Христіанство и либерализм	0.60
Донбровская Вчера и сегодня, ром., ч. 1 и 2 по	0.90
Даниленко Роман студента Володи	0.70
Завротскій Сила Сталина и его ахиллес. пята	0.40
„ Красные вандалы	0.40
Еп. Нестор Очерки Югославіи	0.90
Лавров В странѣ экспериментов	1.50

Льдовскій	Записки военного летчика	0.60
Морозова	Судьба, части: 1, 2, 3-я	3.—
Накада	Таинственная нація	0.60
Нилус	Близ грядущій антихрист	0.90
Орлов	Пыль кулис	0.90
Розанов	Обонят. и осязательное отноше- ніе евреев к крови	1.50
Селиванов	Музыкальная хрестоматія	1.50
Филимонов	Бѣлоповстанцы ч. 2-я	2.50
"	На путях к Уралу	1.80
Шендрикова	Из за власти	1.—
"	Дама из бара	1.—

### 1935 г.

Рѣзникова	Измѣна, ром., распрод.	1.20
Коджак	Еврейскій вопрос	0.90
Проф. Ники- форов	Очерки исторіи экономич. и социальн. ученій	0.90
Донбровская	Степан Черторогов	1.
Рудин	Пирамиды красных фараонов	0.55
Тутковскій	Наковальня добра и зла	1.20
Наживин	Ев. от фомы	0.85
"	Древліе письма	0.80
"	Расцвѣт. в ночи лотос	1.—
"	Недостроенный храм	0.80
"	Собачья республика	0.85
Гроссе	Навстрѣчу Апокалипсису	0.70
Рамбаев	Разсказы о приключен.	0.48
Льдовскій	Голубой фоккер	0.70
Уоллес	Великосвѣтск. преступн.	0.70
Иванов	От Петра I до наших дней	1.80
Хартлинг	На стражѣ родины	1.20
Иванов	Правосл. мір и масонство	0.50
Даниленко	Пріамурскій край	0.45
Мои первые	научные опыты и забавы	0.24
Янковская	Это было в Корей	0.90
Наваль	Ирина Рдищева ч. I	0.90
Наваль	" " ч. II	0.90
Гитлер	Моя борьба	0.90



## 1936 г.

Пр. Болдырев	Знаіе и бытіе	0.90
Наваль	В Лабиринтѣ Гименея ч. I	0.90
"	" " " " II	0.90
Тутковскій	Орден новых людей	1.20
Серебренников	Великій отход	1.—
Рѣзникова	Раба Афродиты	0.90
Наживин	Софисты	1.—
"	Неглубокоуважаемые	1.—
"	Неопалимая купина	1.20
"	Остров блаженных	1.—
Рерих	Священный дозор	0.70
Огуси	Сборн. законов и распоряжен.	
	Маньчжу-Ди-Го ч. I	2.40
	" II	1.20

## 1937 г.

Байков	Великій Ван	1.20
Наваль	Тѣсныя врата кн. I	0.90
Наваль	Тѣсныя врата кн. II	0.90
Наваль	Тѣсныя врата кн. III	0.90
Григорьев	Правильное питаніе	2.10
Лович	Бѣлая Голгофа	0.70
Загоскин	Казаки	0.60
Гроссе	Апокалипсис пола	0.70
Сабуров	Зеленый фронт	1.—
Рѣзникова	Побѣжденная	1.20
Донбровская	Княжны Зардѣвы	1.—
Даниленко	Когда мы жертвуем собой	0.90
Байков	По бѣлу свѣту	0.80
Иванов	Тайная дипломатія	1.50
Наживин	Молодежь	1.15
"	Мужики ч. I	1.20
Петров	Крушеніе импер. Россіи	0.70
Тутковскій	—Арабески	0.70

## В печати:

	Забытыя могилы	
Даниленко	—Безуміе ревности	
Донбровская	—Распятая Россія	
Наваль	—Картинки из жизни Вѣрочки Морской	

Д Ъ Т С К

(Обложки отпечатаны в 7 красок)

457.55

	Ам. д.		Ам. д.
А. Б. В.	0.30	Юмбо	0.15
1. 2. 3.	0.25		
Вешнія зорьки	0.30	<b>Сказки:</b>	
Война птиц и звѣрей	0.35	Охота пуше неволи	0.15
Вокруг свѣта. Кальма	0.30	Солдат и черт	0.15
Гришкины путешест-		Иванушка и Аленушка	0.12
вія: Австралія, Аме-		Колдун	0.12
рика, Африка, Китай,		Лягушка царевна	0.12
Сибирь и Сѣверный		Не любо не слушай	0.12
полюс . . . . по	0.15	Золотая рыбка	0.10
Горе-охотники	0.15	Кот и лиса	0.10
Живая азбука	0.45	Верлюка	0.10
Красная шапочка	0.30	Мальчик с пальчик	0.10
Кот в сапогах	0.20	Волк и коза	0.09
Крокодил в 3-х ч.	0.60	Журавль и цапля	0.09
„ в 1-ой ч.	0.25	Баба-Яга	0.09
Левушкины именины	0.15	Мужик и медвѣдь	0.09
Макс и Мориц	0.45	Лисичка и волк	0.09
Миша, Триша и Ариша	0.15		
Наши друзья	0.40	<b>Географическія карты:</b>	
Наши шалунишки	0.25	Восточной Азіи	0.45
Проказники слонята	0.15	Китай	2.—
Рычкова-Сборник дѣтск.		Маньчжуріи	2.—
пъес	0.70	„	0.45
Сказки Андерсена	0.70	Монголіи	0.80
Степка-растрепка	0.45	План гор. Харбина	0.45
Царевна жемчужина	0.30		

**Книжки для раскрашиванія:**

№ 1001, 1002 . . . . .	0.06
№ 0102, 0101, 0105 . . . . .	0.15
№ 0103, 0104 . . . . .	0.18